

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Фанфарон

«Губернией управлял князь ***. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:

- Помещик Шамаев!
- Просите, – сказал князь...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0118
Примечания.....	.0123

**Алексей Феофилактович
Писемский
Фанфарон
*Еще рассказ исправника***

Губернией управлял князь ***. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:

– Помещик Шамаев!

– Просите, – сказал князь.

Я по обыкновению отошел за ширмы; названная фамилия напомнила мне моего кокинского исправника, который тоже прозывался Шамаев. «Уж не сын ли его?» – подумал я.

Вошел высокий мужчина, довольно полный, но еще статный, средних лет; в осанке его и походке видна была какая-то спокойная уверенность в собственном достоинстве; одет он был, как одевается ныне большая часть богатых помещиков, щеголевато и с шиком, поклонился развязно и проговорил первую представительную фразу на французском языке. Князь просил его садиться и начал с того, с чего бы начал и я.

– Не родственник ли вы кокинского исправника Шамаева?

– Я его родной племянник, ваше сиятельство, – отвечал тот.

– В таком случае, – продолжал князь, всегда очень любезный и находчивый в приеме незнакомых посетителей, – позвольте мне начать с того, что вашего почтенного родственника мы любим, уважаем, дорожим его службой и боимся только одного, чтоб он нас не оставил.

Шамаев поклонился.

– Мне, ваше сиятельство, – отвечал он, – остается только благодарить за лестное мнение, которое вы имеете о моем дяде и который, впрочем, действительно заслуживает этого, потому что опытен, честен и деятелен.

– Именно, – подтвердил князь.

На этом месте разговор, кажется, мог бы и приостановиться; но Шамаев сумел перевести его тотчас на другой предмет.

– Как хорош вид из квартиры вашего сиятельства; здесь этим немногие дома могут похвастаться, – сказал он, взглянув в окно.

– Да, – отвечал князь, – особенно теперь: ярмарка; площадь так оживлена.

– Мне кажется, ваше сиятельство, эта яр-

марка скорее может навести грусть, чем доставить удовольствие, – заметил Шамаев.

– Почему ж вы так думаете?

– Она так малолюдна, бедна.

– Что ж делать?.. Все-таки она удовлетворяет местным потребностям.

– Для удовлетворения местных потребностей достаточно нескольких лавок и двух базарных дней в неделю; назначение ярмарок должно быть более важно: они должны оживлять край, потому что дают сподручную возможность местным обывателям сбывать свои произведения и пускать в движение свои капиталы, наконец обмен торговых проектов, соглашение на новые предприятия... но ничего подобного здесь нет.

– Здешняя губерния, – возразил князь, – ни по своему положению, ни по своей производительности не может иметь такого важного торгового значения, чтобы вызвать ярмарку в подобных размерах.

– Напротив, ваше сиятельство, – возразил, в свою очередь, Шамаев, – здешняя губерния могла бы иметь огромное торговое значение. Край здешний я знаю очень хорошо, и он в

этом отношении представляет чрезвычайно любопытный факт для наблюдения. Одна его половина, которую я называю береговою, по преимуществу должна бы быть хлебопашною: поля открытые, земля удобная, средство сбыта – Волга; а выходит не так: в них развито, конечно, в слабой степени, фабричное производство, тогда как в дальних уездах, где лесные дачи идут на неизмеримое пространство, строят только гусянки, нагружают их дровами, гонят бог знает в какую даль, сбывают все это за ничтожную цену, а часто и в убыток приходится вся эта операция; дома же, на месте, сажени дров не сожгут, потому что нет почти ни одной фабрики, ни одного завода.

По этим словам Шамаева я заключил, что он должен быть капиталист-помещик, который затевает какое-нибудь значительное торговое предприятие и поэтому приехал объясниться с управляющим губернией. Князь был тоже, кажется, моего мнения, потому что сейчас же поспешил Шамаеву предложить сигару, который, в свою очередь, закурив ее, тоже не замедлил угадать ценность ее происхожде-

ния.

– Причина этому, ваше сиятельство, – мы, владельцы, потому что мы все-таки еще любим жить по старине: в нас совершенно нет ни коммерческого духа, ни предприимчивости. Все мы очень похожи на одного жида, которого я знал в Варшаве, который нажил огромное состояние и под старость лет с ума сошел: не знал ни счету деньгам, ни употребления, а только сидел в своей кладовой и дрожал, чтобы его не обокрали... Так и мы сидим у своих дач, очень богатых, надобно сказать, и у своих шкатулок, у кого они есть, и боимся рискнуть двадцатью пятью рублями серебром или срубить при порубке лишнее бревно; ну как, думаешь, лес-то и не вырастет больше?

– В этом случае кому-нибудь одному надобно показать пример, – сказал князь.

– И я так полагал, ваше сиятельство, и даже взялся быть этим примером, и был жертвой. Сначала я думал делать на акциях, как делается это в других местах; однако у меня их на сто целковых не раскупили. Я и на это не посмотрел; имея каких-нибудь двести душ,

устраивал два самых удобных, по местным средствам, завода: сначала шло очень хорошо, а потом, при первых же двух-трех неудачах, не имея запасных капиталов, не выдержал – и со страшным убытком должен был бросить, тем более что постигло меня ничем не заменяемое несчастье: лишился жены, заниматься сам ничем не мог.

Говоря последние слова, Шамаев поднял глаза к небу, вздохнул, потупился и несколько времени молчал.

– Я, ваше сиятельство, – начал он потом, вставая и не совсем твердым голосом, – хоть до сегодняшнего моего представления и не имел чести быть вам знаком, но, наслышавшись о вашем добром и благородном сердце, решаюсь прямо и смело обратиться к вашему милостивому покровительству.

– Что такое? – спросил князь.

– Так как теперь, ваше сиятельство, я не имею никакого особенного занятия, а малютки сироты (при этом Шамаев опять вздохнул)... сироты мои, малютки, – продолжал он, – требуют уже воспитания и невольно вынуждают меня жить в городе с ними, и так

как слышал я, что ваканция старшего чиновника особых поручений при особе вашего сиятельства свободна, потому желал бы занять эту должность и с своей стороны смею уверить, что оправдаю своей службой доверие вашего сиятельства.

Князь, как большая часть мягких и добрых людей, был почти неспособен отказывать просьбам, особенно так прямо и смело высказанным, как высказал свою Шамаев, но в то же время он был настолько опытен и осторожен в службе, чтобы не поддаться же сразу человеку, совершенно не зная, кто он и что он такое.

– С большим удовольствием, – отвечал он, подумав, – но я это место уже предполагал заместить другим, и если только он не будет желать, то...

Шамаев поклонился.

– Стало быть, ваше сиятельство, я могу иметь некоторую надежду?

– Очень, очень, – отвечал князь, раскланиваясь.

Шамаев еще раз, и довольно низко, поклонился и вышел.

Князь позвал меня.

– Что это за господин, не знаете ли вы? – спросил он.

Я отвечал, что не знаю.

– Но, вероятно, его кто-нибудь знает здесь в городе, кого бы я мог спросить?

Я отвечал, что всего лучше спросить его дя-дю, исправника, который, конечно, его хорошо знает и скажет правду.

– Прекрасно, – сказал князь, – вы едете в Кокин, попросите Ивана Семеныча моим именем сообщить вам об его племяннике все подробности, какие вы найдете нужными, и все это передайте мне, а там увидим.

Через неделю я поехал в Кокин.

Ивана Семеновича не было в городе. Я написал ему записочку; он приехал.

– Я к вам, Иван Семеныч, с поручением, – начал я.

– Слушаю-с, – отвечал он.

– Во-первых, перед моим отъездом сюда к князю являлся ваш родственник – штаб-ротмистр Шамаев.

– Слушаю-с, – повторил Иван Семенович.

– Во-вторых, – продолжал я, – он просится на место старшего чиновника особых поручений.

Иван Семенович почесал затылок.

– В-третьих, князь поручил мне расспросить вас о нем как можно подробнее; вы, конечно, хорошо его знаете.

Иван Семенович потер лоб.

– Как не знать! Очень уж хорошо знаю; только как вам рассказывать: правду ли говорить или нет?

– Разумеется, правду; а то хуже, князь узнает стороной; этим вы и себя скомпрометируе-

те, да и меня подведете.

– Конечно, – отвечал Иван Семенович и начал ходить взад и вперед по комнате. – Ах ты, боже ты мой! Боже ты мой милостивый! – говорил он как бы сам с собой. – Немало я с этим молодцом повозился: и сердил-то он меня, и жаль-то мне его, потому что, как ни говорите, сын родного брата: этого уж из сердца не вырвешь – кровь говорит.

Несколько времени мы молчали.

– Ну-с, почтеннейший Иван Семеныч, я жду, – сказал я наконец.

– Да что, сударь! Не знаю, с чего вам и начать, – отвечал Иван Семенович. – Прежде всего, – продолжал он, – я хочу вам сказать об его отце, моем старшем брате, который был прекраснейший человек; учился, знаете, отлично в Морском корпусе; в отставку вышел капитаном второго ранга; словом, умница был мужчина. Каждое слово его имело вес; хозяин был такой, что этакое другого в жизнь мою я уж больше и не встречал; все эти нынешние модные господа агрономы гроша перед ним не стоят. От каких-нибудь ста душ усадьба у него отделана была, как игру-

печка: что за домик, что за флигеля для прислуги, какие дворы скотные, небольшие теплички, оранжерея, красный двор мощный, обсаженный подстриженными липками, – решительно картинка, садись да рисуй! Скотоводство держал большое-с, и поэтому земля была удобрена, пропахана, как пух; все это, знаете, при собственном глазе; рожь иные годы сам-пятнадцать приходила, а это по нашим местам не у всех бывает; выезд у него, знаете, был хоть и деревенский, но щегольской; люди одеты всегда чисто, опрятно; раз пять в год он непременно ночью обежит по всем избам и осмотрит, чтобы никто из людей не валялся на полушубках или на голом полу и чтобы у всех были войлочные тюфяки, – вот до каких тонкостей доходил в хозяйстве! Редкостный, можно сказать, был помещик; это я говорю не потому, что он мне родной брат, а это скажет вам всякий, кто только знал его. Женился он по страсти, взял дочку бывшего губернского предводителя; состояния за ней большого не было; впрочем, брат за состоянием и не гнался: какое дали, и за то спасибо. Года в два он так поправил мужиков,

что любо-дорого, и часто мне покойник, ходя этак со мной по усадьбе, говаривал:

– Вот, брат Иван, – говорит, – видишь, как я себя устроил. Кажется, все недурно, и как рассчитываю, по теперешним моим средствам, так хоть семь человек детей будет, всех смогу поднять и воспитать не хуже себя.

Однако, видно, человек предполагает, а бог располагает; супруга его вышла... не знаю, как вам и сказать об этой женщине: осудить ее, – чтобы не взять греха на душу, да и похвалить, пожалуй, не за что. Была бы она дама и неглупая, а уж добрая, так очень добрая; но здравого смысла у ней как-то мало было; о хозяйстве и не спрашивай: не понимала ли она, или не хотела ничем заняться, только даже обедать приказать не в состоянии была; деревенскую жизнь терпеть не могла; а рядиться, по гостям ездить, по городам бы жить или этак года бы, например, через два съездить в Москву, в Петербург, и прожить там тысяч десять – к этому в начальные годы замужества была неимоверная страсть; только этим и бредила; ну, а брат, как человек расчетливый, понимал так, что в одном отношении он при-

вык уже к сельской жизни; а другое и то, что как там ни толкуй, а в городе все втрое или вчетверо выйдет против деревни; кроме того, усадьбу оставить, так и доход с имения будет не тот.

– В город, душа моя, – говорил он ей, – переехать не хитро; но ты вспомни, что состояние наше не шереметьевское: как этак начнешь помахивать туда да сюда, так и концы с концами не сведешь, придется занимать, а я в жизнь мою, – говорит, – ни у кого копейкой не одолжался.

Словом, не ехал-с из деревни. Так слезы, обмороки, болезни – притворные или нет, уж не знаю.

– Вы, – говорит, – заедаете мой век, я не так воспитана, я, – говорит, – человеческого лица здесь не вижу...

И так далее. Большие, слышу, стали выходить между ними из-за этого семейные неприятности; так что я, чтобы как-нибудь да посладить, начал брату, издавека, конечно, советовать, чтобы он хоть должность, что ли, какую-нибудь себе приискал, и, как полагаю, даже успел бы его убедить в этом, однако на

пятый уж почти год их супружества она родила сына, этого самого, которого вы видели и которого в честь деда с материнской стороны наименовали Дмитрием. Ну, думаю, слава богу, не порассеются ли хоть этим? И действительно: точно переродилась женщина; в восторге, что сделалась матерью, сама захотела кормить младенца; все ночи не спит с ним; что чуть-чуть ребенок побольше разревется, в город скачи за доктором. Я тогда еще не служил, жил в деревне, и мы часто видались. Ну, сначала, я вижу, брату приятно было смотреть на эту ее материнскую нежность; а тут, как ребенок начал подрастать, так, пожалуй, нам с ним стало и не нравиться. Едва успела от груди отнять, как стала его пичкать конфетами; к чему мальчишка ни потянется, всего давай; таращится на огонь, на свечку – никто не смей останавливать; он обожжет лапешку, заревет, а она сама пуще его в слезы; сцарапает, например, папенькину чашку – куда ли, хороша ли, все-таки рублей пять стоит, но он ее о пол, ничего – очень мило. С няньками тоже возня, беспрестанно меняет; та не умела занять ребенка, другая сердито на него

смотрит, третья собой нехороша. Мальчишка едва папу с мамой выговаривает, давай гувернантку; ну, а это еще нынче легко: есть и няньки, и гувернантки недорогие; а в то время трудно было и найти; а уж коли нашел, так давай большую цену. Брат, однако, ее и в этом потешил, нанял, ни много ни мало, за восемьсот рублей француженку – рябая этакая девка, из себя нехорошая, но умная и, главное, хитрая; сразу смекнула, в чем дело, и давай вместе с маменькой баловать Митеньку; ну и бесподобно, значит; «не гувернантка, а друг дома», рассказывается всем; другу дома, стало быть, надобно платить вместо восьмисот тысячу. Между тем мальчишка подрастает, собой делается прехорошенький и довольно острый на словах, но шалун и резвый, как вы только можете себе представить. Восьмой год пошел, а за книгу лучше и не сажай, по-французски болтает бойко, а русскую грамоту читает, как через пень колоду валит, пишет каракулями, об арифметике и помину не было: вряд ли и считать-то умел, но зато лакомиться, франтить – мастер! Целое утро будет сидеть и не пошевелится, только завей ему

волосы. Брат было пробовал сначала говорить, да где тут? Она прямо ему сказала: «Если ты будешь, говорит, кричать на Митеньку, так я не перенесу этого и безвременно лягу в могилу». И не лгала в этом случае: я сам был свидетелем подобной сцены. Подавали водку, только этот мальчуган, всего еще ему было не более четырех лет, подбежал, в минуту налил с краями ровно рюмку да залпом всю и выпил. Брат, это увидевши, взял его, так, больше для шутки, за ухо: «Вот тебе, говорит, вот тебе, рано еще начинаешь», и так, знаете, легонько потянул его. Боже ты мой, как он рывкнет, и побежал к матери.

– Что такое? Что такое?

Он ревет да кричит:

– Ой, папаша, ой, папаша меня прибил.

Унимают, конфет обещают, ничего не берет и, должно быть, от слез да от водки-то побледнел этак, и дыханье у него захватило: и прошло, конечно, сейчас же, но надобно было видеть, какая с маменькою сделалась истерика: глаза остолбенели, рыдает, плачет, нас обоих бранит; видим, что она сама не вольна над своими чувствами. Из этой кроткой, мож-

но сказать, женщины точно тигрицей какой сделалась; и это, сударь, каждый раз повторялось, как только что коснется до Митеньки.

Тут Иван Семенович приостановился немного.

– Слабоват, видно, характером был ваш брат или уж очень любил свою супругу, – заметил я ему.

– Любил он, конечно, ее любил, – отвечал он, – но не слепо; в других случаях, как я вам и докладывал, не все делал по ней, и что до характера его касается, так совершенно напротив – в этом отношении он был настоящий семьянин: твердый, настойчивый, любил порядок, смолоду привык, чтобы все делалось по нем, а тут ничего не мог сделать... Эх, милостивый государь, – продолжал Иван Семенович, покачав головою, – я могу вам при этом повторить слова того же покойного моего брата: «Супружество, – говаривал он, – есть корабль, который, чтоб провести благополучно между всеми подводными камнями, лоцману нужна не только опытность, но и счастье». Не знаю, конечно, успел ли бы он впоследствии повести по-своему, потому что

бог веку долгого не дал.

– Помер он?

– Да-с, действовали ли на него эти душевные неприятности, которые он скрывал больше на сердце, так что из посторонних никто и не знал ничего, или уж время пришло – удар хватил; сидел за столом, упал, ни слова не сказал и умер. Этот проклятый паралич какая-то у нас общая помещичья болезнь; от ленивой жизни, что ли, она происходит? Едят-то много, а другой еще и выпивает; а моциону нет, кровь-то и накапливается.

– Что же, как вдова осталась? – перебил я, желая перейти к главному сюжету рассказа.

– Очень была огорчена, – продолжал Иван Семенович. – «Один, говорит, Митенька только привязывает меня к земле; а если бы его не было, так и жить бы без моего друга не хотела».

Меня покойник назначил попечителем до совершеннолетия малолетка. Выждал я первое время; но потом слышу, что француженка от Мити отходит, поссорилась с маменькой. В чем это, думаю, у них вышло? Впрочем, та, отошедши, заезжает ко мне. Спрашиваю ее:

– Что такое у вас?

– Помилуйте, – говорит, – Иван Семеныч, я в стольких домах жила, мне везде детей поручали в полное распоряжение, и нигде еще я не употребляла во зло этой доверенности; но, вы сами знаете, какой же я была гувернанткой в доме Настасьи Дмитриевны? Я скорее была рабой ее Митеньки, и видит бог, что сил моих больше не доставало. Этот мальчик до того уж простер свою дерзость ко мне, что на днях нарочно облил все мое новенькое платье деревянным маслом, и я просила Настасью Дмитриевну позволить мне только поставить его в угол, она и этого не хотела сделать и мне же насаждала самых обидных колкостей.

Я только покачал головой. Что прикажете делать с подобной маменькой? Еду к ней, и первое ее слово:

– Замечаете ли вы, братец, как Митенька у меня растет? Не правда ли, какой красавчик?

И говорит это, знаете, при самом мальчике, который тут стоит и которому, как заметно по лицу, очень приятны эти слова, носенок так вверх и дерет.

– Вижу, – говорю, – сестрица, и радуюсь, но ведь это что же? Рост бог дает всем, а теперь, по-моему, главное надобно подумать о воспитании его. Гувернантка от вас отошла, учителя тоже никакого нет, не пора ли его пристроить в казенное заведение?

– Ах, нет, – говорит, – братец, я теперь и думать об этом не смею: вы не поверите, как он слаб здоровьем; прежде я должна его здоровье еще поправить.

Я усмехнулся: малый, как кровь с молоком, здоровее меня.

– Я, – говорю, – сестрица, не вижу, чтобы он был особенно слаб или нездоров; это пустяки, тебе так мерещится, и не знаю, известно ли тебе, что покойный брат его записал в Морской корпус, куда он, вероятно скоро и будет принят, а потому я советовал бы отправить его в Петербург, хоть покуда приготовить немного.

Вся побледнела от этих слов.

– Нет, – говорит, – братец, я решительно не хочу отдать его в корпус: при его комплекции... там такая строгость!

– Да что же такое, – говорю, – моя милая,

комплексция и строгость! Там воспитываются дети понежней и получше наших с тобою.

– Ни за что на свете: должен будет поступить в военную службу, куда-нибудь зашлют, пошлют в сражение, убьют; у меня при одном воображении об этом делается лихорадка.

– Эти еще сражения, – говорю, – сударыня, далеко впереди, а теперь надобно хлопотать, чтоб он не остался безграмотным недорослем.

– Братец, – перебила она, – позволь мне тебя просить предоставить мне самой думать о воспитании моего сына. Худа ли, хороша ли, но я мать, и ты, как мужчина, не можешь понять материнских чувств. Я решилась во всю мою жизнь не расставаться с ним; в этом мое единственное блаженство. Теперь я наняла для него гувернера.

Меня это уж взорвало, знаете.

– Желаю, – говорю, – тебе, сударыня, наслаждаться этим блаженством. С твоими гувернерами смотри только не вынянчай себе на шею болвана.

– Равным образом, братец, болванами могут быть и ваши дети, – говорит она мне на оборот, чтобы уколоть меня.

Уезжаю я. Губернер, говорят, приехал, француз какой-то. У нас в городе пробыл двое суток и все это время в нашем дрянном трактиришке, с двумя выгнанными приказными, пил и играл на бильярде; и те его на прощанье отдули киями, потому что он проигрался, напил, наел, а расплатиться нечем. Славный, вижу, малый, но так как невестушка на меня изволит сердиться: ни сама не ездит, ни пишет, ни людям не велит заходить, стало быть, я ничего не мог сделать. Однако через год или меньше после этого времени вдруг она приезжает ко мне и с Митенькой, которому, заметьте, уже лет четырнадцать стукнуло. Очень рад, конечно.

– Я, – говорит, – братец, Митеньку в гимназию везу.

– Доброе, – говорю, – дело: нынче в гимназиях очень хорошо учат. А что же, прибавляю, губернер твой?

– Ах, – говорит, – братец, не говорите мне про этого человека. Это чудовище какое-то! Как я за ним вначале ни ухаживала – лелеяла его, можно сказать; он ничего этого не оценил. Вообрази, мой дружок, он Митю, кото-

рый именно как младенец еще невинен, начал по ночам возить с собой на мужицкие поседки. Я как узнала, так и обмерла; и как, надобно сказать, ребенок кроток и благороден: он никак мне про своего учителя не хотел открыть этого.

Я рассмеялся.

– Славный, – говорю, – наставник.

– Ужасный, – говорит, – братец, человек!

Но это еще не все; ты посмейся, он даже мне вздумал делать куры.[1]

– Вот видишь ли, – говорю, – сестрица: ты тогда на меня сердилась, а, значит, я говорил правду. Хорошие гувернеры дороги, да к тебе в деревню и не поедут; а шарлатаны эти добру не научат.

– Вижу, – говорит, – голубчик мой, все теперь вижу и потому решилась отдать Митю в гимназию, пускай тут учится; найдем квартиру, и сама с ним буду жить.

– Зачем же сама-то жить! Это уж, говорю, по-моему, и лишнее бы.

– Отчего же, – говорит, – дружок мой, лишнее? Чей же, говорит, надзор может быть лучше, как не самой матери?

– Это так, – говорю, – только не твой, моя милая сестрица; я знаю наперед: Митенька, например, заленится в класс идти; а ты, вместо того чтобы принудить его, еще сама его оставишь, будешь ко всем учителям ездить да кланяться; а он на это станет надеяться, а потому учиться-то не будет и станет шалить.

– Что это, братец, ты всегда был для меня каким-то злым пророком; бог с тобой! Я этого переменить не могу, так уж решилась!

– Ваше дело, – говорю, – как знаете, так и делайте.

Отправились. Живут там. Мой старший сын Петруша, ровесник Дмитрию-то, тоже тогда в гимназии учился. Спрашиваю его, когда этак на каникулы приезжает:

– Каково племянничек подвизается?

– Да что, – говорит, – папенька, все в третьем еще только классе: два года не перешел.

– Что же, – говорю, – способностей, что ли, у него нет, или ленится?

– Нет, какое, – говорит, – способностей нет, ничего не занимается, потому что некогда: все по маскарадам да по балам маменька возит, танцует как большой; одна шуба, гово-

рит, у него, папенька, лучшая во всей гимназии – хорьковая, с бобровым воротником, у директора этакой нет, на вицмундире сукно меньше как в двадцать рублей не носит, а штатского-то платья сколько! Все в сюртуках да во фраках щеголяет. Лошадь у него отличная, чухонские сани с полостью, и, когда в гимназию едет, всегда сам правит.

«Вот тебе и собственный надзор маменькин, – думаю, – хорош!» – Ну, однако, с течением времени Петруша мой кончает своим порядком курс и поступает в Демидовское[2], и пишет мне, между прочим, что Дмитрий Никитич тоже не хочет учиться в гимназии и поступает в Демидовское из четвертого класса; самолюбие, знаете, разыгралось! Не хочется от сверстников отстать; только дурно, что прямо не принимают, надо наперед приготовиться. Нанимает ему маменька самого лучшего профессора за тысячу рублей. Ради этих расходов большая часть имения закладывается. Год проходит, тысяча заплачена; но наступает экзамен, и малый наш хоть бы в одном предмете выдержал. Демидовское, значит, не годится; переезжают в Москву, в университет

поступать; ждем, не будет ли там толку, но и там не понравилось. Получаю я от нее преотчаянное письмо: пишет, что Митенька учиться больше не желает, потому что ходил в университет вольным слушателем и что все уж узнал, чему там учат, а что теперь намерен поступить в военную службу, в гусары. «Представьте, братец, мое ужасное положение, – прибавляет она, – чего всегда прежде опасалась, то должно исполниться; только и надежды на бога да на вас. Не напишете ли вы Митеньке письмо, не отсоветуете ли вы ему идти в военную службу, а поступить в депутатское собрание?»

Подумал я, порассудил, потолковал с женою. «Что же, думаем, отсоветовать, для чего и для какой цели!» – и ответил ей таким образом, что по желанию твоему, милая сестрица, я не пишу Дмитрию, ибо это совершенно бесполезно. Он от самого своего рождения ничего и ни в чем еще не послушался; а за намерение его идти в военную службу надобно благодарить бога, потому что там его по крайней мере повымуштруют и порастрясут ему матушкины ватрушки; но полагал бы только с

своей стороны лучшим – поступить ему в пехоту, так как в кавалерии служба дорога; записывать же его в депутатское собрание – значит продолжать баловство и давать ему возможность бить баклуши. Думал, что за это письмо она по обыкновению рассердится; однако нет. Нежданно-негаданно прикатила сама из Москвы, заезжает ко мне и говорит, что, возложивши упование на господа бога, она решилась отпустить Митю в службу и потому едет с ним в Малороссию, где и думает пожить, а «так как, говорит, имение остается без всякого надзора, то умоляю тебя, друг мой, принять его в свое распоряжение». Я только развел руками.

– Безрассудная, – говорю, – ты женщина, сестрица! Зачем же ты сама-то едешь за такую даль в твои лета? И как ты будешь жить с сыном-юнкером, и где, по деревням, что ли, с ним, или в казармах? Знаешь ли ты, какого рода эта жизнь?

Заткнула уши и слушать не хочет. Просидела, как на иголках, один вечер и куда-то скрылась, больше уж и не видал; а сказывали, что целым обозом уехала куда-то за Москву.

Именье, однакож, принял и потом, видевши большие во всем запущения, только, знаете, хотел было немного поустроить, не тут-то было: через месяц какой-нибудь получаю от них письмо, умоляют, чтобы прислал тысячу рублей серебром. Что угодно, пишут, могу из имения продать, только, бога ради, не остановить, потому что без этого Митеньку в полк не принимают. Делать нечего; взял и продал лучшую отхожую их пустошь, выслал им тысячу рублей. Думаю, по крайней мере теперь поугомонятся. Ничего не бывало; как начали, сударь мой, почти чрез каждую почту жарить меня: «Бесценный братец, многоуважаемый дядюшка, вышлите денег, соберите оброки или займите где-нибудь». Только в том и письма состоят. Выслал еще раза два; терпение, наконец, лопнуло, написал им предерзкое письмо. «Вероятно, вы, – пишу им, – не умеете считать, что ожидаете оброков, когда они получены мною уже за целый год вперед; а если вы, мои милые, думаете, что в вашей усадьбе или в какой-нибудь из деревень ваших открыты золотые рудники, так вы ошибаетесь. Нет у меня про вас больше денег».

Осердились. Получаю на это ответ от одного уж племянника, очень вежливый, но холодный. Извиняется, что обеспокоили меня управлением имения, и потому его нынче поручают своему старосте. Ну, думаю, мне же лучше: кума с возу, куму легче. Прошло таким делом года четыре – ни слуху ни духу от моей родненьки; только один раз прогуливаюсь я по нашему базару, вдруг, вижу, идет мне навстречу их ключница, Марья Алексеевна, в своей по обыкновению заячьей китайской шубке, маленькой косынкой повязанная; любимая, знаете, из всех людей покойным братом женщина и в самом деле этакая преданная всему их семейству, скопидомка большая в хозяйстве, неглупая и очень не прочь поговорить и посудить о господах, с кем знает, что можно.

– Марья Алексеевна, – говорю, – мое вам почтенье.

Она подошла ко мне и, как водится, поцеловала меня в плечо.

– Зачем и про что изволили пожаловать к нам в город?

– Запасов, сударь, – говорит, – кой-каких

приехала закупить: чаю, кофейю, сахару для дому.

– Да что, сама, что ли, вздумала чайничать да кофейничать?

– Никак нет, сударь, для госпожи, – говорит.

– Как для госпожи? Барыня разве здесь?

– Как же, сударь, – говорит, – месяца полтора, как прибыли.

– Хорошо, – говорю, – а мне и весточки не дадите.

– Не можем, сударь, этого ничего знать, – говорит, – воля господская.

– Надолго ли же, – говорю, – приехала сестра?

– Да надо полагать, что на житье изволили прибыть.

– Что же за причина этому и как она с своим Митенькой решилась расстаться?

Марья Алексеевна только покачала головой.

– На это, – говорит, – было большое желание Дмитрия Никитича, так как они поступили уже в офицерский чин, стали маменьку просить, чтоб, чем жить там при них и про-

живаться, лучше ехать в деревню и скопить что-нибудь для них, но барыня и после этих слов еще, по своей привязанности, долго не решались; а потом уж, увидевши, что от них стало большое настояние, сделать не по-ихнему не хотели, поехали-с. Не с теперешних, ба-тюшка Иван Семеныч, пор, – прибавляет она, – всякое слово Дмитрия Никитича закон для Настасьи Дмитриевны было, сами изво-лите знать.

– Как не знать, – говорю, – только в этот раз, пожалуй, она и хорошо сделала, что по-слушалась. Там, я думаю, в этой кочевой жизни немало намаялись.

– Не без того, сударь; много было слухов и до вас, может, доходили. Когда густо, а когда и пусто. Полковые господа – молодые! При деньгах, так запотроев много, а нет, так денек-другой в кухне и огня не разводят: готовить нечего; сами куда-нибудь в гости уедут, а старушка дома сидит и терпит; но, как я, по моему глупому разуму, думаю, так оне и этим бы не потяготились, тем, что теперь, как все это на наших глазах, так оне в разлуке с ним больше убиваются. Если которая почта от

Дмитрия Никитича писем нет, так мы, ей-богу, не знаем, что и делать: так плачут, так плачут, что, господи, откуда у них только эти слезы берутся. Расстраивают свое здоровье, ни на что не похоже.

Жалко мне стало мою невестушку, слушая эти рассказы.

– Нехорошо, – говорю, – очень нехорошо... Да что она на меня все сердится, что ли?

– Ах, нет, сударь, – говорит, – как изволите вы знать ее ангельскую доброту, на кого она могут сердиться? Скорее, осмелюсь вам доложить, она полагают, что вы на них гневаетесь.

– Ну, так вот что, – говорю, – Марья Алексеевна, когда ты приедешь домой, кланяйся ей от меня и скажи, что я завтра приеду.

– Ах, батюшка Иван Семеныч, сделайте такую божескую милость; уж я и не знаю, как она вам рады будут. Утешьте вы их, порассейте хоть немного; ну что с нами одними – какие разговоры? Все одна да одна, голубушка моя, не глядела бы на нее.

Поехал я на другой день. Еще когда подъезжал к усадьбе, у меня замерло сердце; пред-

ставьте себе, после такого устройства, какое было при брате, вижу я, что флигеля развалились, сад заглох, аллея эта срублена, сломана, а с дома тес даже ободран, которым был обшит; внутри не лучше: в зале штукатурка обвалилась, пол качается; сама хозяйка поместилась в одной маленькой комнате, потому что во всех прочих холод страшный. Мне обрадовалась, бросилась на шею, прослезилась.

– Так-то, – говорю, – сестрица, вот и вы возвратились; я приехал проведать вас.

– Благодарю, дружок мой, благодарю, благодетель мой, что вы меня вспомнили, или нет, погодите... не хочу с вами ни говорить, ни слушать вас, а наперед покажу вам письмо Митеньки, которое вчера только получила.

И так, знаете, проворно соскочила с дивана к комоду, отпирает, у самой руки дрожат, подала, наконец.

– Каково, братец, красноречие, слог-то какой! Умница он у меня.

– Очень, – говорю, – хорошо.

А чего очень хорошо, ничего особенного нет, обыкновенное письмо молодого челове-

ка: описывает разные пустяки, почерк больше этакой ученический.

– По письму еще вы, братец, не можете судить, – продолжала она, – а если бы вы его самого видели! Этакой восхитительной наружности мужчину вообразить трудно; что за ловкость, что за обращение! Принят в самых лучших домах; любим всеми, уважаем. Дмитрия нет, танцы не составляются, потому что барышни с другими кавалерами танцевать не хотят. Он приехал, все ожило: старичков в карты усадит; молодежь у него сейчас затанцует. И я вот несколько потом раз замечала: все, что есть в обществе солидного, умного, все это за Дмитрием ходит по следам и ловит его каждое слово.

Слушаю ее и внутренне усмехаюсь.

– Это, – говорю, – сестрица, хорошо; только как служба-то у него – исправно ли идет?

– Ах, братец, – говорит, – про службу вы уж мне лучше и не говорите. Я боюсь одного, что он на этой службе все здоровье растеряет. Что ж, говорит, конечно, ценят, очень ценят. Генерал приезжает ко мне перед самым отъездом сюда. «Настасья Дмитриевна, говорит, чем мы

вас можем благодарить, что сын ваш служит у нас в дивизии! Это примерный офицер; как только у меня выбудет старший адъютант, я сейчас его беру к себе, и это будет во всей армии первый адъютант».

– Слава богу, если так все хорошо идет, – говорю.

А сам почти наверное знаю, что на деле совершенно не то, и, признаюсь, невольно задумался, до чего может доводить слепая материнская любовь. Во всем другом, например, женщина всегда была довольно правдивая, а тут явно лжет, выдумывает, чтоб как-нибудь своего Митеньку пораскрасить. Обедать сели мы втроем: попадья у нее была еще тут в гостях. Гляжу: мне положена ложка серебряная, а у них у обеих деревянные. «Что такое, думаю, неужели трех серебряных ложек не достало?» Спросить было совестно, промолчал. Однако после обеда, вышедши прогуляться, вижу, что Марья идет из погреба.

– Что это, мать моя, – говорю ей, – у вас деревянные ложки уж стали к столу подавать?

– Что, сударь Иван Семеныч, – говорит, – нам делать, был было у нас при Никите Семе-

ныче домик, как полная чаша, а теперь вот барынина ложечка, что вы изволили кушать, да две чайных, больше и не спрашивайте, только и есть серебра.

– Куда ж оно девалось? У брата было пропасть серебра.

– Пуда три было, если не больше; все туда в полк увезено. И кто говорит, что в употреблении, а другие сказывают, что продано или там заложено.

– Славно! – говорю. – И усадьбу-то довели хорошо, нечего сказать. Каналья этот староста, кабы воля моя была, я бы с ним разделался.

– Нет, – говорит, – Иван Семеныч, там как вам угодно, вся воля ваша есть, а только на старосту изволите приходить напрасно, на все были приказы от самого Дмитрия Никитича, только и пишут: ничего не жалей, да денег мне вышли. Ранжереи проданы по их письму, мельница тоже-с, с дому тес – и тот, по их приказанию, сколочен и продан.

Взорвало меня, знаете.

– Так что, – говорю, – твоя старая-то дура, барыня, сидит да думает и позволяет этому

оболтусу все зорить и губить? Доживет, что на старости лет есть будет нечего: с голоду помрет.

– Сами, сударь, видим, – говорит, – что немно делают, даром, что госпожа. Вот хоть бы и по нашей братье посудить, что уж мы, темные люди; у меня у самой детки есть; жалостливо, кто говорит, да все уж не на эту статью: иной раз потешишь, а другой раз и остановишь, как видишь, что неладно. А у нашей Настасьи Дмитриевны этого не жди: делайся все по команде Дмитрия Никитича, а будто спасибо да почтенье большое?

– А что же? – говорю.

– Небольшое, сударь; больше бы им надобно маменьку свою жалеть. Сударушка приехала сюда в этакой мороз в одном старом сапожке, на ножках ботиночек не было, а валеные сапоги, как у мужичка; платье, что видите на ней, только и есть, к себе уж и не зовите лучше в гости: не в чем приехать. Не дорогого бы стоило искупить все эти вещи, да, видно, и на то не хватило: на дело так нет у нас, а на пустяки тысячи кидают.

– Грустно, – говорю, – Марья, грустно мне

слушать это.

– Ах, сударь Иван Семеныч, разве легко нам это рассказывать. Посмотрели бы вы, как вся дворня, от мала до большого, все мужички горькими обливаются слезами, вспоминая старого барина, хотя, конечно, грех сказать и про Дмитрия Никитича, чтобы они этакие были строгие или уж чрез меру взыскательные.

– Что же, – говорю, – прост, что ли, он или, между нами сказать, глуп?

– Какое, сударь, глупы; подите-ка, какой говорун; на словах города берут, а на деле, пожалуй, и ваше слово – слаб рассудком. Покойник ваш братец, извольте, я думаю, помнить, не любил много говорить, да много делал; а они совсем другое дело; а до денег, осмелюсь вам доложить, такой охотник, что, кажется, у них только и помыслов, что как бы ни быть, да денег добыть. Теперь собираются жениться, и сказывают, что часто этак хвастают: «Женюсь, говорит, непременно на красавице и на богачке».

– Как же, – говорю, – много про него припасено!

И не стал больше спрашивать: хороше-

го, видно, не услышишь. Ночевавши ночь, собираюсь домой, только вижу, что моя Настасья Дмитриевна как-то переминается и, наконец, говорит:

– Братец, – говорит, – не можете ли вы мне одолжить займы полтора ста рублей? Мне теперь крайняя нужда; а я, – говорит, – как только соберу оброки, сейчас вам выплачу.

– Слушай, – говорю, – сестра, ты знаешь, у меня денег у самого немного, но так как я вижу, что ты действительно в крайности, то я тебе дам полтора ста рублей с одним условием, чтобы ты из них гроша не посылала Дмитрию, а издержала все на себя. Посмотри, до чего ты себя довела и на что похоже ты живешь: у тебя, как говорится, ни ложки ни ложки нет; в доме того и гляди, что убьет тебя штукатурка; сама ты в рубище ходишь.

Зарыдала.

– Изволь, – говорю, – взять у меня денег и непременно устрой себя и около себя.

– Непременно, – говорит, – дружок мой, устрой. Мне самой тяжело становится так жить.

Дал ей полтора ста целковых и, поехавши

домой, раздумался. «Не утерпит, думаю, она, поделится с Митенькой».

С этими мыслями и завернул к почтмейстеру.

– Сделайте, – говорю, – милость, если будет моя невестка посылать к сыну денег, уведоьте меня.

И я не ошибся в своем предположении. В первую же почту тот дает мне знать, что отправлено сто сорок сребром. Для себя только десять целковых оставила. Так это меня взорвало. Сейчас же поехал к ней. Она – знает уж кошка, чье мясо съела: как увидела меня, так и побледнела.

– Братец, голубчик мой, – говорит, – я перед тобой виновата, но что же делать? Он в такой теперь нужде, что невозможно его не поддерживать. Я здесь перебыюсь как-нибудь, много ли мне надо?

– Слушай, – говорю, – Настасья Дмитриевна; я оборвал себя и отдал тебе свои последние деньги на твою нужду. Ты меня обманула, и с этих пор ты о гривеннике займы не заикайся мне; живи, как хочешь; у меня про твоего ветрогона Дмитрия Никитича банк не

открыт: бездонную кадку не нальешь!

На этом месте Иван Семенович опять приостановился.

– Фу, устал даже, – проговорил он и потом, помолчав некоторое время, снова продолжал:

– Года чрез полтора, знаете, этак приехал я из округа, устал; порастрясло, конечно; вдруг докладывают, что какой-то офицер ко мне приехал. Я было сначала велел извиниться и сказать, что не так здоров и потому принять не могу, однако он с моим посланным обратно мне приказывает, что он мне родственник и весьма желает меня видеть. Делать нечего, принимаю. Входит молодой офицерик, стройный, высокий, собой хорошенький, мундир с иголочки, сапоги лакированные, в лайковых перчатках, надушен, напомажен.

– Вы, – говорит, – дядюшка, вероятно не узнали меня?

– Да, – говорю, – извините меня; припоминаю немного, но боюсь ошибиться.

– Я, – говорит, – такой-то Дмитрий Шамаев.

– Ах, боже мой, Митенька! – невольно, знаете, вскрикнул и потом, поодумавшись, гово-

рю: – Извините, – говорю, – милый племянничек, что так вас по-прежнему назвал.

– Помилуйте, дядюшка, – говорит, – напротив, мне это очень приятно; это показывает, что вы не утратили еще ко мне вашего родственного расположения, которым я всегда так дорожил и ценил.

– Очень, – говорю, – вам благодарен, что вы так меня разумеете. Надолго ли, – говорю, – приехали побывать в наши места?

– На двадцать восемь дней, – говорит, – дядюшка.

– Что же так мало? Матушка, я думаю, глаза проглядела, вас ожидая, а теперь в этокое короткое время и наглядеться на вас не успеет.

– Что ж делать, – говорит, – дядюшка, долго ли, коротко ли, все расстаться придется. Попадаюсь с ней, поустрою хоть несколько имение.

– Да-с, – говорю, – милый Дмитрий Никитич, и это не мешает: именье ваше будет скоро никуда негодно, так вы его разорили.

Он вздохнул, знаете, пожал плечами и говорит:

– Что ж, дядюшка, – говорит, – делать! Теперь я сам сознаю мои ошибки, но кто же в молодости не имел их? От маменьки в этом отношении я не имел никаких наставлений, напротив, еще оне ободряли все мои глупости; но, поживши и испытавши на опыте, иначе начинаю смотреть на вещи.

Тут входит моя жена.

– Ну-те-ка, – говорю, – молодой человек, узнаете ли, кто это такая дама?

– Как же, – говорит, – не узнать добрую, милую тетюшку, которая всегда мне такие красивые конфеты дарила!

Жена его тоже сейчас узнала, приветствовала, и стали они перекидываться между собою словами: супруга моя например, удивляется, как он ее узнал, потому что она, вот видите, очень постарела, а он наоборот: дает такой тон, что, если ему и трудно было узнать ее, так это потому, собственно, что она похорошела... Говорят они таким манером, а я между тем присматриваюсь к моему племянничку и думаю сам с собою: «Что же уж очень я нападаю на него и представляю его себе совсем пустым человеком. Малый хоть куда: го-

ворит умненько, складненько». Далее, потом-с, после обеда сошлись в моем кабинете. Я сел в кресло вздремнуть немного, вдруг сквозь сон этак слышу, что гость мой ходит по комнате и что-то с жаром говорит, открываю я глаза, прислушиваюсь: рассказывает он, что будто бы там, где они стоят, живут все богатые помещики, и живут отлично, и что будто бы там жениться на богатой невесте так же легко, как выпить стакан воды. Эти слова его, знаете, и напомнили мне, что говорила о нем Марья.

– Не знаю, – говорю, – милый мой Дмитрий Никитич, как нынче, а прежде я там тоже бывал, живут так же, как и мы грешные: есть богатые, есть и бедные; и богатые невесты, слышно, выходят больше или за богатых, или за чиновных, а на вашу братью – небогатых субалтер-офицеров – не очень что-то смотрят.

– Ну, нет-с; нынче там не так-с, – возражает он мне. – Нынче, если вы понравились девушке, то она, будь у ней хоть миллион, полюбя вас, выйдет за вас замуж.

– Может быть-с, – говорю, – только вот прежде надобно понравиться чем-нибудь.

Он прошелся этак по комнате, усмехнулся.

– Уважаю вас, дядюшка, – говорит, – как почетного дядю, спорить с вами я не смею, тем более что про себя лично в этом случае мне рассказывать довольно щекотливо, и замечу одно, что тамошние женщины все прекрасно образованны, очень богаты и потому избалованны. Встречая молодого человека, если он им нравится, они знать не хотят, богаты ли вы, бедны, чиновны или нет.

– Ну, вот видите, – говорю я, – вы рассказываете нам точно про какую-нибудь новооткрытую Америку; все там не по-нашему делается.

– Вам, я вижу, дядюшка, это кажется смешно и неправдоподобно, но я могу доказать примерами: в прошлом году у нас женился майор и взял сто тысяч чистогану – это уж факт!

– Так майор же, – говорю, – а не прапорщик.

– Позвольте-с, – перебивает он меня, – если вам угодно успех этот отнести к чину майора, так вот вам другие два примера: пред самым моим отъездом один наш прапорщик, и один

даже юнкер, оба бедняки, женились и получили в приданое: первый небольшое состоянье с десятью тысячами серебром годового дохода, а второй хватил полмиллиона. Конечно, они оба хорошего очень рода, молодцы, щегольски говорят по-французски, но и только; кроме этого, в них ничего особенного нет: прапорщик даже очень недалек; а умели поправиться девушкам.

– Дай бог, конечно, – говорю, – этакое счастья всякому, но только вот видите ли, Дмитрий Никитич, что я в жизнь мою наблюдал: вас, охотников жениться на богатых невестах, смело можно считать тысячами, а богатых невест десятками, так на всех, пожалуй, и не достанет.

– Зачем же на всех? На счастливцев выпадает! Но... если удастся некоторым, то почему не искать и каждому? Возьмите вы молодого человека в моем положении и скажите мне откровенно, чем другим я могу поправить мою карьеру; а поправить ее мне очень нужно: я очень небогат, но и по моему воспитанию, и по тому кругу, в котором я жил, по всему этому я привык жить порядочно.

– Какая вам, – говорю, – еще надобна карьера? Служите усерднее, вы красивы из себя, молоды, здоровы, человек, как понимаете себя, образованный, выслужитесь: карьера сама собою придет со временем.

– А денежные средства? – возражает он мне.

– Что же, – возражаю я ему в свою очередь, – денежные средства? По-моему, ваши денежные средства вовсе недурны: жалованья вы получаете около трехсот рублей серебром, именье... хоть вы и расстроили его, но поустрой-те немного, и одной оброчной суммы будете получать около шестисот серебром; из этих денег я бы на вашем месте триста рублей оставил матери: вам грех и стыдно допускать жить ее в такой нужде, как жила она эти два года. Извините, я говорю прямо.

– Все это, дяденька, я очень хорошо сам знаю, но в таком случае, – говорит, – я не могу служить.

– Отчего же не можете? У вас будет шестьсот рублей годового дохода: на эти деньги очень, кажется, можно жить молодому офицеру.

Он вдруг засмеялся.

– Шестьсот рублей, – говорит, – для кавалерийского офицера! Нет, – говорит, – дядюшка, видно, вы совершенно не знаете службы.

– А когда, – говорю, – мало вам в кавалерии, переходите в пехоту, служба везде все равна.

– Если бы и так, – отвечает он мне на это, – так и в таком случае мне нечем будет жить.

– Да что же такое? – вспыхнул уж, знаете, я. – Все вам мало да мало, а спросили бы вы: как служил ваш отец и я? Жалованья мы получали вдвое меньше вашего, из дома ни копейки, кроме разве матушка тихонько от отца пришлет белья, а мы, однако, прослужили: я двенадцать лет, а брат пятнадцать.

– Если так рассуждать, так вы, конечно, – говорит, – дядюшка, правы, но вы забыли, что нынче не те уж времена и не такое мы с детства получаем воспитание. Кто говорит! Если б я вырос в деревне, ничему бы не учился...

(Он-то, извольте видеть, многому учился, думаю я; однако ж слушаю.)

– Роскоши бы, – продолжает, – не видал, в обществе не был принят, это другое дело, я бы

стоял там где-нибудь в деревне, ел бы кашу да говядину с картофелем, пил бы водку – и прекрасно! Но это для меня уж невозможно. Там у нас неделя не проходит без бала.

– Эх, – говорю, – Дмитрий Никитич, танцуя, целый век не проживешь.

– Кто ж, – говорит, – дядюшка, с этим спорит? Неужели вы думаете, что я в этих балах вижу цель моей жизни? Вовсе нет! Я хочу только жить между людьми, равными мне, и в обществе, хоть сколько-нибудь образованном; но предположим, что я поступлю буквально по вашему совету, то есть ничего не буду предпринимать и смиренно удовольствуюсь доходами с имения; в таком случае, как я и прежде вам объяснил, службу я должен оставить и, следовательно, поселиться в деревне, в нашей прекрасной Бычихе; но что ж потом я стану делать? В чем и какого рода могут быть у меня развлечения? Ездить по деревням на беседы да в села на базары!

– Кто вас, – говорю, – заставляет ездить по беседам? Занятия можно найти: хозяйничайте; а если захотите развлечься, зимой поезжайте в губернский город; у нас здесь весе-

лятся больше по городам.

– Благодарю вас, дядюшка, покорно на ваших городских удовольствиях, – говорит он и кланяется мне в пояс. – Бывал я прежде, – продолжает, – был и теперь проездом в вашем губернском собрании. Что это такое, помилуйте, только что не горят сальные свечки да не подают квасу: скука, натянутость во всем, как на купеческой вечеринке, и что всего милее: я, например, в маскараде ангажирую одну девушку, она мне вдруг прямо говорит: «Pardon, monsieur[3], я с незнакомыми не танцую». Я отвернулся и не стал больше говорить. Это черт знает что такое! Она видела, что я в мундире. Как, тетюшка, скажете вы, оправдаете поступок этой девицы или нет? – обращается он к жене моей; а та, знаете, чтоб немного побесить его:

– Что ж? – говорит. – Она, верно, не хотела с вами танцевать.

Он только на это приосанился и ничего не сказал.

– Ну как, – говорю, – не хотела; она просто глупо поступила.

– Не глупо, – говорит, – дядюшка, а это

дичь какая-то. Но там, боже ты мой, что это за женщины! Знакомы вы или не знакомы: она сейчас вас оприветствует, пойдет с вами одна под руку в сад, в поле; сама вызовет вас на интересный разговор – и все это свободно, умно, ловко! Вы, дядюшка, улыбаетесь; вам, как человеку пожилых лет, может быть, смешны мои слова, но я говорю справедливо.

– Нет-с, – говорю, – я не тому, а очень уж вы хвалите тамошние места; видно, там зазнобушка есть, так и кажется все в ином свете.

– Ну, дядюшка, – говорит, – что это за слово: зазнобушка, очень уж оно неблагозвучно, – и потом, подумавши, прибавляет: – Действительно, – говорит, – я имею там виды на одну девушку.

– Что ж, и жениться думаете?

– Конечно-с, тем более что это такая партия, о которой я не смел бы подумать, если бы не случай.

– Дай бог, – говорю, – Дмитрий Никитич, только смотри, есть поговорочка, которую твой покойный отец часто говаривал: «Девушки хороши, красные пригожи; ах, откуда же берутся злые жены?»

– Эта поговорка, – говорит, – дядюшка, никоим образом не может отнестись ко мне!

– Не хвастай, – говорю, – понравится сатана лучше ясного сокола; в тех местах женщины на это преловкие, часто вашу братью, молоденьких офицеров, надувают; а если ты думаешь жениться, так выбери-ка лучше здесь, на родине, невесту; в здешней палестине мы о каждой девушке знаем – и семейство ее, и род-то весь, и состояние, и характер, пожалуй.

– Очень вам благодарен, – говорит, – дядюшка, за ваш совет и вполне уверен, что вами руководствует мне желание добра, но вы меня совсем не поняли. Обмануться я не могу, потому что я женюсь с расчетцем. Нынче уж, – говорит, – дядюшка, над любовью смеются, а всем надобно злата, злата и злата. Точно так и я. У меня все предусмотрено: кроме ее прекрасного воспитания, ума, доброты ангельской, кроме, наконец, обыкновенного приданого, у ней миллионное наследство – в деле. Много ли у вас таких невест?

– В делах-то, пожалуй, – смеюсь я ему, – и у наших лежат миллионы, да дела-то – вещь темная...

– А вот какая, – говорит, – дядюшка, темная вещь, это мне говорил один тамошний стряпчий-законник, который на этих делах зубы приел. Он говорил, что на охотника за это дело сейчас можно дать двести тысяч.

– Хорошо, – говорю, – значит, дело. Только когда и скоро ли оно кончится?

– В этом-то, – говорит, – и фортель весь заключается: старик засиделся в деревне, обленился; ему страшно подумать тронуться в Петербург, и дело таким образом стоит, не движается, но если оно попадет в руки человека с энергией, так ему будет недурно. Вот видите, – говорит, – дядюшка, как у меня далеко все рассчитано... Стало быть, я не слепой обожатель!

– Вижу, – говорю, – что у вас в голове все рассчитано, а на деле-то, мне кажется, так вас либо надувают, либо дурачат.

– Время-с, – говорит, – все это покажет.

– Конечно, – говорю, – время покажет...

И уж мне, знаете, стал надоедать этот спор.

– Кончим, – говорю, – мой милый Дмитрий Никитич, наши прения, которые ни к чему не поведут. Мне тебя не убедить, да и ты меня

тоже не переуверишь; останемся каждый при своем.

Так мы с ним и поспорили; вижу, что мои замечания ему не очень понутру: нахмурился, ушел и с полчаса ходил молча по залу. Вечером, однако, приехала одна дама с дочерью, он сейчас с ними познакомился и стал любезничать с барышнями, сел потом за фортепьяно, очень недурно им сыграл, спел, словом, опять развеселился. После ужина, впрочем, стал прощаться, чтоб ехать домой. Я останавливаю его ночевать.

– Нет уж, – говорит, – дядюшка, отпустите меня; я приехал на такое короткое время, надо с матушкой побыть.

– А в таком случае, – говорю, – не смею останавливать, поезжайте.

– У меня, впрочем, – говорит, – дядюшка, до вас просьба есть.

Согрешил! Думаю, верно, хочет денег просить.

– Какая же это просьба? – говорю не совсем уж таким приятным голосом.

– Я, – говорит, – дядюшка, желаю остальную свободную часть имения заложить, и как

это зависит от здешних судов, так нельзя ли вам похлопотать, чтоб мне скорее это сделали?

– Это, – говорю, – Дмитрий Никитич, ты таким-то манером думаешь устраивать именье?

– Невозможно, – говорит, – дядюшка, при таком случае, как женитьба, о которой я вам говорил; не могу же я быть совершенно без денег.

– Послушай, – говорю, – Дмитрий Никитич, исполни ты хоть один раз в жизни мою просьбу и поверь, что сам за то после будешь благодарить: не закладывай ты именья, а лучше перевернись как-нибудь. Залог для хозяев, которые на занятые деньги покупают именья, благодетелен; но заложить и деньги прожить – это хомут, в котором, рано ли, поздно ли, ты затянешься. О тебе я не говорю: ты мужчина, проживешь как-нибудь; но я боюсь за мать твою, ты оставишь ее без куска хлеба.

– Помилуйте, дядюшка, неужели, – говорит, – я не понимаю священной обязанности сына!

– Верю, – говорю, – друг мой, что понима-

ешь, но скажу тебе откровенно, потому что желаю тебе добра и вижу в тебе сына моего родного брата, что ты еще молод, мотоват и ветрен.

– Очень грустно, дядюшка, слышать, что вы меня так понимаете, – возражает он мне.

– Ну, мой милый, – говорю, – хоть сердись на меня, хоть нет; а я говорю, что думаю, и не буду тебе содействовать в залоге имения: делай помимо меня, а я умываю руки.

На эти слова мои он расшаркался и уехал. Впрочем, я, рассчитав, знаете, что скоро ему к отъезду, и как бы вроде того, чтоб заплатить визит, еду к ним. Подъезжаю и вижу, что дорожная повозка у крыльца уж стоит: укладываются; спрашиваю:

– Где барыня?

– В спальне у себя, не так здорова.

– А молодой барин?

– У них сидят-с.

Вхожу. Она сидит на постели, а он у окошка. Я чуть не вскрикнул: представьте себе, в какие-нибудь эти полтора года, которые я ее не видал, из такой полной и крепкой еще женщины вижу худую, сморщенную, беззу-

бую старушонку.

– Ах ты, боже мой, думаю, и все это сделалось от разлуки с Митенькой.

– Мать ты моя, – говорю, – сестрица, что это с тобой сделалось? Тебя узнать нельзя.

– Все больна, – говорит, – братец, это время была. Митенька-то мой, братец!

– Знаю, – говорю, – сестрица, мы с ним знакомы. Молодец у тебя сын; мы с женой не налюбовались им, как он был у нас, – говорю ей, чтобы потешить ее.

– Слава богу, – говорит, – батюшка!

А сама взглянула на образ и перекрестилась. Так что-то даже жалко сделалось ее в эту минуту.

– Едет уж, – говорит, – братец, а я здесь остаюсь, – проговорила, знаете, таким плачевным голосом, да и в слезы.

– Что же, – говорю, – сестрица, делать! Сын не дочь, не может сидеть все при вас.

– Вы, – говорит, – маменька (вмешивается Дмитрий), вашими слезами меня, наконец, в отчаяние приводите. Если вам угодно, я исполню ваше желание, останусь здесь: брошу службу, брошу мою выгодную партию; но уж

в таком случае не пеняйте на меня. Я должен погибнуть совершенно, потому что или сопьюсь, или что-нибудь еще хуже из меня выйдет.

– Я, Митенька, друг мой, ничего, ей-богу, ничего. Я так только поплачу; нельзя же, – говорит, – не поплакать!

– Поплакать, – говорю, – сестрица, можно, да ты плачешь-то не по-людски. Родительская любовь, моя милая, должна состоять в том, чтобы мы желали видеть детей наших умными, хорошими людьми, полезными слугами отечества, а не в том, чтобы они торчали перед нами.

Между тем, как я таким манером рассуждаю, он вдруг встал. Она как увидела это, так и помертвела; а плакать, однако, не смеет и шепчет мне:

– Батюшка братец, мне бы благословить его хотелось.

– Ну что ж, – говорю, – это хорошо. Маменька ваша, – говорю, – Дмитрий Никитич, желает вас благословить.

Он мне вдруг мигает и тоже шепчет:

– Нельзя ли, – говорит, – дядюшка, чтоб не

было этого благословения, а то опять слезы и истерики. Ей-богу, я измучился, сил моих уж нет.

– Ну, что делать, – говорю, – братец, нельзя старуху этим не потешить.

Дал ей образ, встал он перед ней на колена, слезы вижу и у него на глазах; благословила его, знаете, но как только образ-то принял у нее, зарыдала, застонала; он ту же секунду драла... в повозку, да и марш; остался я, делать нечего, при старухе.

– Помилуй, – говорю, – сестрица, что ты такое делаешь!

– Батюшка братец, – говорит, – не могу я без него, моего друга, жить.

Да как заладила это: «Не могу я без него жить», плачет день, плачет другой... Я было ее к себе, в город, лекаря пригласил, тот с неделю посмотрел и говорит: «Если ее оставить в этом положении, так она с ума сойдет». Как после этого прикажешь с ней быть?

– Что же вы, – говорю, – сестрица, так уж убиваетесь? Поезжайте, когда так, за ним.

– Не смею, батюшка братец. Ну, как ему это будет неприятно?

– Что это, – говорю, – за вздор – неприятно! Что это тебе пришло в голову, – поезжай!

А сам между тем к нему, молодцу, написал особое письмо. Пишу, что «мать ваша, Дмитрий Никитич, не может жить без вас и едет к вам, но она имеет, к удивлению моему, страшное опасение, что вам это будет неприятно, чего, конечно, надеюсь, не встретит, ибо вы сами хорошо должны знать, как много вы еще должны заплатить ей за всю ее горячую к вам любовь...» и так далее, знаете, написал умненькое этакое письмо с заковычками небольшими: хотелось ему объяснить, что он обязан к матери быть благодарен и почтителен. Старуха моя, как только я утвердил ее в этой мысли, точно ожила: сама укладывается, собирается, мне только что не в ноги кланяется. Уехала, наконец, и вскоре потом пишет: благодарит за участие и объясняет, что Митенька обрадовался ей без души и что еще большая для нее радость та, что общее их желание исполняется: он женится на красавице и богачке. Я сначала и поверил, а потом люди их стали болтать, что, когда она туда прибыла, так он ей нанял особую маленькую квар-

тиру, и что ни к невесте, ни к ее родне даже и не представлял, и что будто бы даже старуха и на свадьбу не была приглашена, и что уж после сама молодая, узнавши, что у ней есть свекровь, поехала и познакомилась, и что тесть и теща ему за это очень пеняли. Как это ни скверно с его стороны, однако, отвергать не могу: мать-де стара да бедна, не так, может быть, образована, как нынешние дамы, так и стыдно! Фанфарон, и большой фанфарон, как вы это увидите и из последующей его жизни. Этаких господ, надобно сказать, не один он на свете. Чего бы, кажется, должно совеститься — деньги, например, брать в долг да не платить, им ничего. А что, по-нашему, вздор: в старой бы шинельке, если ему пришлось пройти по улице, так со стыда сторит, прятаться за углы станет, чтобы только его не увидел кто-нибудь... Сколько прошло потом времени после женитьбы моего Дмитрия Никитича, теперь уж хорошенько не помню. Только прогремела, наконец, у нас по уезду такая молва, что бычихинский барин вышел в отставку и изволил с маменькой и с молодой супругой прибыть в свое поместье и очень-де быстро

принимаются за хозяйство. Я, знаете, на правах дяди ожидаю хоть бы и визита себе – не едут; мне немножко это и обидно. Думаю: видно, в самом деле племянник разбогател, когда и знать не хочет. Однако получаю с нарочно посланным от него письмо, в котором приносит тысячу извинений, что до сих пор сам не был и жены не представил; причина тому та, что, приехавши в усадьбу, не нашел ни одной годной для выезда лошади. «Препятствие это, милый племянник, – отвечаю я ему, – весьма легко устранить». И с этим же, знаете, посланным посылаю за ними карету шестериком, чтобы и они спокойно доехали, да и себя чтобы тоже не уронить! «На-мо, говорю, знай наших!» Приезжают-с. Он уж в штатском платье, щеголь этакой, раздобыл немного, усы, бакенбарды, осанка такая, как и вы, может быть, заметили, графская – залюбованье, по наружности, мужчина. Она очень еще молоденькая, довольно высокая, стройная, собой хорошенькая, только худа что-то очень и вообще какая-то воздушная: дунешь, кажется, так она упадет, не то что вот наши барышни – коренастые, краснощекие. Немоч-

кой она мне показалась на первый раз. Одета, конечно, по последней моде, так что у моей супруги глаза даже разгорелись; всю ночь после мне толковала, какое на ней все это дорогое и со вкусом. Рекомендует он ее нам.

– Прошу, – говорит, – дядюшка и тетушка, почтить мою жену таким же родственным расположением, которым и я всегда пользовался от вас.

Она тоже просит полюбить.

Мы говорим, что это наша обязанность.

– Не скучаете ли вы, – говорю, – сударыня, в деревне, в наших местах?

– Нет-с, – говорит, – с мужем и детьми за чем же скучать?

– А дети ваши велики? – спрашивает жена моя.

– Старшему, – говорит, – два года, а младшему шесть месяцев.

– Сами кормите?

– Нет, – говорит, – первого я сама кормила, но потом была больна, и второго доктор мне запретил; так это мне грустно!

– Вот, – говорит (вмешался уж это племянник), – тетушка и дяденька, побраните для

первого знакомства вашу племянницу, – хандрит часто: что немного не по себе, а она уж бог знает что воображает, никак и ничем себя не хочет порассеять.

Я посмотрел, знаете, на нее: цвет лица, кажется бы, бледный, а между тем румянец, как два врезанные розовые листа, играет. «Ну, пожалуй, думаю, судя по этому, есть от чего и похандрить»; однако не выказал этого, а, напротив, еще говорю:

– Нехорошо, – говорю, – молодой даме о болезни думать.

– Нет, – говорит, – дядюшка, я не думаю, а ей-богу, говорит, иногда себя очень плохо чувствую.

И так далее беседуем. Но так как они, хоть и не первый год женаты, а для нас все еще будто молодые, и потому я затеял для них обедец, кое-кого из знакомых позвал. Съехались те. Вижу, мой Дмитрий Никитич себя держит свысока. Что-то насчет стола заговорили, и он тотчас же нам начал рассказывать: какой нынче должен быть порядочный, как он выразился, стол, перечислил названия кушаньям – все иностранные, так что мы, его слу-

шающие, этаких и не слыхивали, и все это, знаете, очень подробно – точно сам повар! Потом об экипажах коснулся разговор. Он стал доказывать, что если уж покупать экипажи, так никак не менее восьмисот рублей серебром, потому что такой экипаж будет гораздо выгоднее дешевого, прослуживши десять – пятнадцать лет без починки, и вслед за этим начал смеяться над некоторыми нашими помещиками, которые собирают экипажцы дома, хозяйственно.

– Кто, – говорю я ему на это, – Дмитрий Никитич, не знает, что коляска в восемьсот рублей серебром лучше, чем дома собранная в двести рублей ассигнациями; да ведь всякой по одежке протягивает ножки; надобно наперед, чтобы восемьсот-то рублей в кармане были.

– О дядюшка, что это за вздор! Велики деньги восемьсот рублей!

Словом, я вижу, что он немного корчит из себя барича; к супруге своей в то же время очень внимателен, беспрестанно, знаете, обращается к ней на французском языке. Она ему также отвечает по-французски. Я-то не

понимаю, а только жена мне после сказывала, что она это, как называется, произносит совершенно как француженка. Далее потом вышли как-то и мы, и гости все наши в залу. Он, увидевши тут фортепьяно, вдруг говорит моей жене:

– Так как я знаю, тетушка, что вы любительница музыки, так не угодно ли вам заставить жену мою сыграть что-нибудь; она, – говорит, – концерты давала.

Супруга моя, конечно, начала просить. Она было сначала отнекивалась, говорит, что давно не играла; однако упростили. Села и сыграла штучки две хорошо, очень хорошо и бойко, и с чувством; потом романс сыграла, а он спел. Я и понял, что он хочет пыль в глаза пустить образованием, знаете, своей супруги; ну, и это еще ничего – извинительно. При расставанье я говорю, что я и жена на следующей неделе постараемся им заплатить визит.

– Нет, – говорит, – дядюшка, не извольте вы беспокоить ни себя, ни тетушку, потому что у меня теперь хаос; все ломается и переделывается. Я буду вас просить, когда все это приведется в порядок, и тогда надеюсь, что в

состоянии буду принять вас прилично.

– Как хочешь, – говорю, – нам все равно, но что же такое ты переделываешь: дом, что ли?

– Все, – говорит, – дядюшка: всю усадьбу поднимаю с подошвы.

– Ну, доброе дело; только не спешил бы, а исподволь бы все устраивал; это будет и дешевле и прочнее.

– Нет, – говорит, – дядюшка, я не такого характера: я люблю, чтобы у меня все кипело.

И в самом деле, видно, у него закипело. Люди беспрестанно ездят в город, то материалов закупить, то мастеровых нанять. К нам заходят тоже, спрашиваю их:

– Барин, – я говорю, – видно, при деньгах?

– При деньгах-с, – отвечают мне.

Слава богу, думаю; радуюсь. Наконец, он и сам является и, только что поздоровался, сейчас же подводит меня к окну.

– Не угодно ли, – говорит, – дядюшка, взглянуть на новокупок моих.

Гляжу. Стоит новомодная коляска и щегольских четверня вороных лошадей.

– Недурны кони? – спрашивает.

– Да, – говорю, – у кого же ты это купил?

– У Архипова-с, – говорит.

Я невольно, знаете, пожал плечами. У Архипова точно, надобно сказать, отличный конский завод, но дело в том, что у него, как я знаю, меньше трехсот серебром лошади нет.

– Что же, – говорю, – Дмитрий Никитич, ты платил за них?

– Вздор, – говорит, – дядюшка, просто шаль, – полторы тысячи целковых за четверку.

– Деньги хорошие, – говорю, – и полторы тысячи целковых не очень дешево.

– Помилуйте, дядюшка, – возражает он мне, – да вы рассудите: лошади все кровные, одна другой вершком ни выше, ни ниже, масть в масть; а как съезжены, вы посмотрели бы! Мне вчера только привели их, сегодня я заложил и поехал. Поверьте мне, говорит, дядюшка, я кавалерист и в лошадях знаток; стоит мне только эту четверку в Москву свести, я за нее меньше четырех тысяч серебром не возьму.

– Можно взять и меньше, – говорю я на это, и тут же к слову спрашиваю: – А что это, Дмитрий Никитич, говорю, какой у тебя ку-

чёр? Я что-то его не знаю. Из жениного имения, что ли?

– Нет, – говорит, – это нанятой, чудный малый; одна посадка, посмотрите, чего стоит... толстяк-то какой!

– Что же ты, – говорю, – ему платишь?

– Десять целковых в месяц.

– Да, – говорю, – десять же, однако, целковых!.. Цена петербургская; а кажется, для деревни это лишнее. У покойного отца твоего хороший был кучер и к лошадям очень привязанный.

– Ну, что это, дядюшка, за кучер? Ему на косульницах ездить, а не на кровных лошадях. Он к этим львам и подойти не посмеет, да и дурак какой-то! Я ему велел возить солому да воду в хлев.

Не хотел его тут оспаривать, потому что он уж не молоденький офицер, а женатый, муж, семьянин.

– А я, – говорит, – дядюшка, к вам с требованием обещанного визита; мне уж теперь не стыдно принять вас в свой домишко.

– Будем, – говорю, – когда прикажешь, тогда и будем.

– Я бы, – говорит, – в будущую пятницу вас просил; оно немножко и кстати, потому что что-то такое вроде именин моей жены.

– Очень, – говорю, – кстати. Если бы я знал, я бы и без зову приехал.

– Тетушка тоже, – говорит, – будет?

– Будет, – говорю.

– Стало быть, это статья решенная, – продолжает он, – но мне бы еще хотелось пригласить кой-кого из городских, и потому прощайте.

– Для чего же тебе это хочется? – спрашиваю я.

– Так, – говорит, – дядюшка, – нельзя же: могут случиться делишки по судам; лучше, как позакормишь; из соседей некоторые придут, так уж вместе.

– Что же это такое: обед, что ли, будет у тебя?

– Нет, так, позывочка; нельзя же не сблизиться. Между нами сказать: нынешним предводителем, кажется, не очень довольны; чрез год баллотировка, мало ли что может случиться.

– Это значит, ты в предводителе думаешь?

– Да не то, чтобы я думал, а если дворянству угодно будет предложить мне эту честь, не буду сметь отказаться.

Я взял да, знаете, ему и поклонился низенько.

– В таком случае, – говорю, – не оставьте, батюшка Дмитрий Никитич, вашей предводительской милостью вашего бедного родственника-исправника.

Смеется.

– Только, – говорит, – дядюшка, пожалуйста, чтоб это осталось между нами. Тут ничего еще определенного нет, и я так говорю с вами, как с родственником.

– Смею ли, – говорю, – я, маленький человек, что-нибудь говорить, когда вы не приказываете.

– О, – говорит, – дядюшка, вечно подденете меня и шпильку мне поставите; лучше, – говорит, – не забудьте пятницы.

– Слушаю-с, – говорю, – ваше высокородие, слушаю-с.

Пришла потом пятница. Отправляемся мы с супругой, а за нами, смотрим, почти полгорода, все почти чиновники, худые и хорошие.

Приезжаем мы этой гурьбой. Дом, вижу я, отделан так, что узнать нельзя против прежнего: все это выбелено, вычищено, рамы в три стекла, стол уж накрыт огромнейшим глаголем, и на нем, знаете, вазы серебряные с шампанским, хрустальные вазы с фруктами; лакеи в белых галстуках, белых жилетах и белых перчатках, короче сказать, так парадно, хоть бы и от тысячи душ. Хозяин тоже по форме – во фраке, встречает нас в зале и ведет в гостиную. Мы, как водится, поздравляем племянницу с днем ее ангела; а она, бедненькая, едва сидит, так бледна и худа, что ужас.

– Что это, – говорю, – милая племяненка, вы все, кажется, хвораете; хоть бы для именин своих эту дурную вашу привычку оставили.

Усмехнулась.

– Бог бы с ними, дядюшка, с моими именинами, не очень я им рада, – говорит мне это негромко.

Значит, это празднество ей не очень по душе, но, переговорив с нею, делаю, разумеется, поклон прочим гостям. Глядь, это все наши уездные богатые помещики, уездов с трех, ка-

жется, собраны, и когда он это успел объехать их и познакомиться с ними, не понимаю, и так как, знаете, от нашего брата, земского исправника, до этих больших бар большой скачок, так я и удалился в наугольную, где нахожу мою старушку сестрицу. Сидит она, знаете, в блондовом чепце, в шелковом платье, пречопорная и, как видно, очень довольная. Здравуюсь я с ней, она вдруг отвечает мне:

– Здравствуй, мой родной, здравствуй! – И каким-то этаким, знаете, обязательным тоном.

Мне это, признаться, показалось несколько и досадно. Видевши, что тут кой-кто сидит из гостей, захотелось мне ей и понапомнить кое-что.

– Как я рад, – говорю, – сестрица, что я в вашей Бычихе нахожу не развалины, а все устроивается и приводится в новый вид, начинает походить на прежнюю Бычиху, как была она при покойном брате.

Она поняла мои слова и сейчас же гораздо спустила важности.

– Да, мой дружок, слава богу, слава богу, – говорит.

– Да, – продолжаю я, – должна благодарить бога, тем более, какая у тебя прекрасная невестка! Не ошибся Дмитрий Никитич в выборе: и сама по себе, да и состояние, кажется – одно другому отвечает.

– Слава богу, слава богу, – повторяет она. – Я день и ночь, – говорит, – молю творца за милости ко мне. Хотя, конечно, Митя был такой жених, что ему много предстояло партий блистательных и богатых, но эта дороже всех, потому что по сердцу.

– Бог с ними, с богатыми и блистательными, какие бы еще вышли, лучше нам не надобно, – говорю я.

Пока мы таким манером со старухой беседовали, кушать просят. Садимся. Обед, по нашим местам, оказывается превосходный, только птичьего молока нет. Уха из мерных стерлядей, этот модный потом ростбиф; даже трудно понять, где он достал этакой говядины: в наших местах решительно нельзя такой найти, вероятно, посылал нарочного в Ярославль. Вина, которых я хоть и не пью, но вижу, что с золотыми да с серебряными головками, значит не нашенские; шампанским

просто обливает; мужчины, кажется, по бутылке на брата выпили. После обеда, конечно, картежи. Он из вежливости составил трем своим знатным гостям партию в преферанс, по двугривенному фишка, и в две пульки проиграл около ста целковых. Наконец, кончилось торжество, часов в девять разъехалась вся эта братия. Меня с женой не пускают, оставили ночевать, но я, видевши, что хозяин утомился:

– Не церемонься, – говорю, – Дмитрий Никитич, ступай отдохни.

– Да, – говорит, – дядюшка, пойдемте в кабинет; я оденусь во что-нибудь попросторнее.

– Хорошо.

Пошли мы. Он, как только вошел, сбросил с себя фрак и кинулся на диван.

– Ах, – говорит, – дядюшка, как я измучился сегодня: с пяти часов утра я не присел; до сих пор куска во рту не бывало, а теперь уж и есть ничего не могу.

– Вижу, – говорю, – мой милый, вижу; впрочем, что же, своя охота.

– Нельзя, – говорит, – дядюшка; нынче в свете обед играет важную роль: обедом со-

ставляются связи, а связи после денег самая важная вещь в жизни; обедами наживаются капиталы, потому что приобретается кредит. Обед! Обед! Это такая глубокомысленная вещь, над которой стоит подумать. Однако скажите-ка лучше мне: порядочно все было у меня?

– Чего же, – говорю, – лучше?

– А повар, – говорит, – дядюшка: как вы находите, недурен?

– Очень хорош, – говорю, – брал, что ли, у кого?

– Фи, дядюшка, повара братъ! Это, по-моему, все равно, что надеть чужой фрак; это значит всенародно признаться, что, господа, я ем, как едят порядочные люди, только при гостях; как же это возможно? Я не могу себе представить жизни без хорошего повара. На счет этого есть очень умная фраза: «Скажи мне, как ты ешь; а я тебе скажу, кто ты».

– Что ж, он у тебя, верно, нанятой? – спрашиваю я.

– Нанятой.

– А вот этот камердинер твой, что входил сюда, тоже, кажется, нанятой?

– Нанятой тоже. Вас, я вижу, дядюшка, несколько удивляет, что у меня все нанятые люди; но что же мне делать? Никого своих нет! Говорили, что эта ключница Марья Алексеевна у нас очень хорошая: а на днях я заставил ее подварить наливку, и она приготовила величайшую дрянь, тогда как я могу пить только такие наливки, которые густы, как ликер. Бог знает, что за прислуга была у отца; один другого хуже: глупые, неопрятные, ленивые; ну, а я, признаюсь, не могу этого сносить, это нож острый для меня.

– Прихотничаешь, – говорю, – Дмитрий Никитич. Впрочем, если средства есть, так отчего же и не потешить себя и не сделать, как нравится?

Он молчит. А мне все, знаете, хочется выпытать из него, форсит ли он только, или в самом деле богат, но прямо сказать как-то неловко, и потому я решился щупать его с боков. Немного помолчав, опять навожу на этот предмет.

– Ты, – я говорю, – тогда, Дмитрий Никитич, как еще офицером в отпуск приезжал, так говорил, что именье твоей теперешней

супруги в деле; выиграно оно или нет еще?

– Нет, – говорит, – дядюшка, тянется еще.

– Что ж, – говорю, – хлопотать надобно.

Смотри, не пропусти сроков.

– Успею еще, не уйдет оно от меня. Теперь мне, главное, хочется устроить себя здесь поосновательнее.

– В чем же, – говорю, – именно будет состоять твое устройство?

– Да как вам сказать, – говорит, – прожектов у меня в голове много, потому что хоть и вы мне говорили и многие другие, что покойный мой отец был хороший хозяин, но, виноват, не вижу этого решительно ни в чем. Если у него и было хозяйство, то маленькое, ничтожное, женское, как говорится.

– Какое же это мужское-то хозяйство? – спрашиваю я.

– А вот-с, например, – начинает он, – усадьба Бычиха с полевыми, лесными, сенокосными дачами и угодьями, на пространстве необозримом – в один день не обойдешь; но какой же, позвольте вас спросить, доход от нее? Никакого, кроме расхода; намолотится хлеба, наготовится соломы, накопится сена, и

все это, по-видимому, в громадных размерах, но посмотришь к концу года, все это уничтожится дворней, которая ничего не делает, лошадьми, на которых невозможно выехать, и коровами, от которых пятнадцати пуд в год масла не получается. Как хотите, дядюшка, подобный хозяйственный расчет смешон.

– Что же делать, – говорю, – мой любезный Дмитрий Никитич? Скотина держится потому, что хлеб не станет родиться. В здешней полосе землю не удобришь, так и семян не сберешь, а дворовые люди в прислуге.

– Не сорок же человек, дядюшка, как, например, в моей дворне, из которых у меня ни одного нет в прислуге.

– Это уж, – говорю, – твое распоряженье, а они очень могли бы быть в прислуге; ну, а прочие в этом числе, конечно, старый да малый, тут, я думаю, старые слуги и служанки твоего отца или их дети, куда их девать? Или потом мужик какой-нибудь бессемейный от старости или за хворостью обеднеет, его берут в дворню; вот ведь как дворни большие составляются: почти по необходимости.

– Стало быть, дядюшка, это богадельня?

– Как хочешь, – говорю, – называй, только не тяготись дворней. Это, по-моему, грех; не разбогатеешь этим.

– Однако, – говорит, – дядюшка, при двухстах душах богадельня на сорок человек велика. Впрочем, я о полевом хозяйстве упомянул только для примера, чтобы показать вам, как оно при отце было безрасчетно; я на него и вниманья не буду обращать, не стоит труда; пусть оно идет, как шло, лишь бы денег от меня не требовало; но у меня другое в виду, здесь золотое дно – фабричное производство; вот здесь в чем капитальная сила имения заключается.

– У отца твоего, – говорю, – был кирпичный завод, была и мельница, ты же все это уничтожил.

– Ну что, дядюшка, об этом вздоре говорить: кирпичный завод, на котором пять тысяч кирпичу выдělывалось, и мельница, приносящая в год сто рублей и сто раз в год ломавшаяся; тут может быть устроено что-нибудь посерьезнее.

– Что же такое, – говорю, – посерьезнее?

– Сию секунду-с объясню, – отвечает он

мне с таким одушевлением, так что даже встал с дивана и начал ходить по комнате. – Известно ли, – говорит, – вам, почтеннейший дядюшка, что у меня две тысячи десятин лесу? Это ведь капитал, согласны с этим? Но какие же проценты получаю с этого капитала, не угодно ли вам знать? Ни больше, ни меньше, как со старых моих сапогов.

– Что же делать! – говорю. – Сплавов здесь нет.

– О боже мой, сплавы! Мне и не нужно сплавы. Ко мне на дом все приедут и купят; извольте заметить, что у меня две тысячи десятин. В здешней полосе лес растет до своей нормальной величины двадцать пять лет; следовательно, если я разобью свою дачу на двадцать пять просеков, то каждый год могу, бесконечное число лет, вырубать восемьдесят десятин лесу и свободно сжечь его для какого угодно вам фабричного дела.

– Это, – говорю, – так; но на фабричное дело, любезный Дмитрий Никитич, надобно прежде положить капитал.

– Будут-с капиталы! Всякому купцу, который думает завести фабрику около Москвы,

где он должен будет платить по четыре рубля серебром за сажень дров, конечно, выгоднее будет устроить фабрику у меня в именье, где я поставлю ему за рубль серебра сажень, или, лучше сказать, я не дам этого никому, я сам устрою завод – стеклянный, хрустальный, бумажный, какой вздумается, и наперед знаю, что буду получать огромные барыши.

– Ну, барыши, – говорю, – еще впереди, ягнят по осени считают; а прежде всего смотри, понимаешь ли ты хоть сколько-нибудь сам эти дела?

– Это вздор; за пятьсот – шестьсот целковых в год вы можете нанять превосходного фабриканта, химика, машиниста, какого только вам надо! Вот бы что, дядюшка, отцу моему следовало давно затеять, так именье бы стоило чего-нибудь.

Слушаю я его, и такого-то, знаете, тумана напустил он мне в глаза этим разговором! Говорит, пожалуй, ладно и неладно. Ехавши домой, переговариваю я об этом с моей супругой.

– Из нашего Дмитрия Никитича, – говорю я, – вышел какой-то прожектер.

– Да, – отвечает она мне, – только все его эти прожекты, кажется, Елене Петровне (то есть его супруге) очень неприятны, потому что, когда в гостинной он тоже об этом рассказывал, так она ему при всех сказала: «Дай бог, говорит, чтобы все это было так выгодно, как ты, Митенька, рассчитываешь», а он, сконфузившись, не нашелся на это ничего сказать, а только подошел и поцеловал ее в голову.

– Не знаю, – говорю, – подождем, что будет дальше.

– Дальше, однакож, предприятия его шире и шире распространяются. Завод устраивается хрустальный под присмотром англичанина, который нарочно из Москвы нанят; в суде он у меня, знаете, билет заявлял, тут я его и видел. Одет чисто, богатый, должно быть; и уж не дешево, конечно, взял. Но завод еще не все; слышу я о многом и другом; слышу, что Дмитрий Никитич почтовую станцию снял; мосты тогда строились по большому тракту, два или три моста, довольно капитальные, те взял на подряд; подбил ко всем этим, знаете, тузам, которые у него кушали, и выпросил у них залогов; у двух купцов наших

вывернул как-то свидетельства на дома. Ко мне было, знаете, адресовался с той же просьбой, однако я говорю, что человек я мнительный, торговых дел не понимаю, да и имения свободного нет. Отошел, знаете, отвертелся кое-как. На зиму он вздумал в город к нам переехать. Сказывает мне об этом.

– Милости, – говорю, – просим, мы рады; компания нам будет.

– Помещение, – говорит, – дядюшка, только меня затрудняет.

– Что же, – говорю, – помещение... Найми старого судьи дом – светленький, чистенький и теплый очень.

– Фу, дядюшка, что ж вы говорите! Где ж я помещусь с моей семьей в этих конурках? Нет уж, – говорит, – я хочу свой выстроить, или, лучше сказать, решил купить эти погорелые стены на площади... Место тут прекрасное; отделаю их, как мне надо.

– Не советовал бы, – говорю, – тебе, Дмитрий Никитич, ни строить, ни покупать здесь дому, потому что здесь в домах, как сам перестал жить, так капитал и мертвый.

– Что же такое? Когда будет не нужен, то-

гда продам.

– Нет, – говорю, – не продашь, не скоро ты найдешь здесь покупателя.

– В таком случае будет ходить у меня в залогах, а в наем отдам под какой-нибудь трактир или харчевню, по контракту, лет на десять, вот вам и проценты с капитала.

И только что переговорил таким манером со мной, смотрю, стены уж куплены, и постройка пошла, а месяца в четыре и дом готов. Я иногда, гуляя, заходил посмотреть, как строится, и вижу, что черт знает что такое. Все это черновое основание никуда не годно: стены погорелые, значит, растрескались, но их не только что не переклали, даже железом не связали, а все только замазали. Но зато, как начисто пошла работа, Дмитрий Никитич ничего не жалеет и сам с утра до ночи присматривает. Прелесть, как отделали по наружности. Посмотреть – маленький дворец; потом, конечно, надобно меблировать дом: деревянная мебель, очень хорошая и тоже новая, не годится, выписывается особенная из Петербурга. Как, знаете, этакому баричу, как господин Шамаев, таскать мебель из деревни

в город и из города в деревню – скучно очень! Впрочем, это еще и так и сяк походило на что-нибудь; но чем он меня поразило, так это: умер тут у нас соборный протопоп, очень богатый, ученый и одинокий. Всю движимость он назначил, чтоб продать, а деньги в церковь. В числе этой движимости была довольно большая библиотека и этот, как по-ученому называется, минералогический кабинет. В уездном суде составилась аукцион. Захожу я туда полюбопытствовать, кто что купил, однако аукцион уж кончился; но я заглянул в опись и вижу, что библиотека и минералогический кабинет остались за штаб-ротмистром Шамаевым. Господи помилуй, думаю: зачем это ему? И потом, встретившись с ним:

– Батюшка, – говорю, – Дмитрий Никитич, давно ли вы изволили в ученые записаться, что библиотеками и кабинетами заводитесь?

– Да, дядюшка, – говорит, – купил, купил.

– Для какой же это, – я говорю, – надобности? Из камней ты, вероятно, и назвать ни одного не умеешь, а играть ими, как игрушками, стар для этого; в библиотеке тоже, по-моему, не нуждаешься. Сколько я тебя здесь ни

знаю, ты, кроме газет, вряд ли какую-нибудь книгу и развертывал.

– Что ж вы меня, дядюшка, – говорит, – таким профаном считаете? Небольшая хорошенькая библиотека в доме очень не лишнее, а каменья эти в красивых шкапчиках поставлю я в моем кабинете, тоже очень будет мило, а главное, дешево: за все про все какие-нибудь триста целковых.

Я только махнул рукой, вижу, не перерезо-нишь его; на все у него свои расчеты. Вскоре после этого начинается его переезд в город, и вы, может быть, не поверите, а ей-богу, ни один губернатор, не то что уж из бедненьких, а из богатых, таким парадом не приезжал. Тракт им проезжать шел, надобно сказать, мимо моего дома, и я целое утро сидел и любовался. История начинается, представьте вы себе, с того, что два кучера под уздцы ведут его четверню вороных в пополах, гривы за-плетены, хвосты тоже; кучера – все это, вероятно, по его приказанию – в плисовых подде-вах, в сломленных каких-то шапочках; далее экипажи городские везут под чехлами, потом кухня следует, и тоже с умыслом, конечно, по-

суда вся эта открыта и разложена в плетеных корзинах. Смотрю, что такое очень уж во внутренности у ней блестит? И после мне уж объяснили это, что-де у Дмитрия Никитича посуда не луженая, как у нас грешных, а серебряная внутри. За этим следует-с вроде польской брики с поварами, с горничными, мальчишками; затем тарантас с девичьим штатом и, наконец, сам Дмитрий Никитич с своей семейкой в дормезе[4] шестерном на разгонных, как он называл, вятских лошадаках. Переехавши таким образом, он задал нам сначала парадное новоселье; а потом и пошли обедец за обедцем, вечерок за вечерком. И что ведь досадно, знаете: все это делалось, по моему наблюдению, не от доброты: гостеприимства и радушья в нем совершенно не было; в деревне соседей, которые победнее, не принимал даже; из маленьких чиновников тоже – придут к нему, рюмки водки не подаст, не посадит; а зато уж кто немного повыше, ничего не пожалеет. Кто бы из губернии ни приехал, этак повидней или к губернатору поближе, сейчас обеда с шампанским и трюфлями. Прислали раз из Петербурга по одному

делу чиновника очень не из важных, а этакого, состоящего при департаменте. Я, по обязанности моей, явился к нему, выхожу и вижу, что Дмитрий Никитич мой подъехал.

– Ты, – я говорю, – мой милый, зачем?

– К старому знакомому, дядюшка, – отвечал он мне.

И вижу, что лжет. Потом заезжает ко мне.

– Приезжайте, – говорит, – сегодня на вечерок.

– Что такое у тебя сегодня? – спрашиваю.

– Ничего особенного; третьего дня позвал кой-кого... в карты поиграем, – отвечал он.

И опять вижу, что лжет и делает этот вечер для чиновника.

– Супруга твоя, – говорю, – Дмитрий Никитич, последнее время ходит, а у тебя все эти вечера.

– Нет, – говорит, – дядюшка, не совсем еще последнее время.

Поехал я: вместо «в карты поиграем» оказывается бал с музыкой. Племянницы нет в гостинной, сидит одна только старуха.

– А молодая хозяйка, – спрашиваю, – где?

– У себя, – говорит, – дружок мой, в комна-

те, прихворнула что-то.

– Мудрено ли, – говорю, – в ее положении прихворнуть?

И вышел трубку себе спросить. У него, знаете, на вечерах заведено было по-модному – сигары и папиросы курить, а трубки убирались в задние комнаты; только вижу я, что горничные что-то суются, а больше всех Марья Алексеевна. Спрашиваю ее:

– Что вы там бегаєте?

– Чего, сударь, – отвечает она, – молодой барыне время пришло.

Вот тебе и сюрприз!

Возвращаюсь я в гостиную и нахожу, что сынок с матушкой преспокойно совещаются, кого с кем в карты посадить.

– Дмитрий Никитич, – говорю, – не стыдно ли тебе: в то время, как ты должен стоять пред образом и молиться, у тебя эти пиры да банкеты проклятые!

– Что же делать, – говорит, – дядюшка, никак этого не ожидал. Впрочем, что же? Дом у меня большой, акушерка приехала.

– Ничего, – говорит, – дружок мой Митенька, не беспокойся, – успокоивает его мамень-

ка, — только надобно, чтобы никто из посторонних не знал, а бог милостив, Леночка всегда легко это переносит.

Так мне, знаете, оба они показались противны, что я не в состоянии был даже вечера досидеть, уехал. Между тем на Дмитрия Никитича что-то стали с некоторых пор взысканьица поступать по судам, частью еще старые — полковые, а частью и здешние. Завод, по слухам, идет шибко и в большом объеме, только, извольте видеть, от англичанина, а наш молодец всего в восьмой части; лес губится, как только возможно: вместо одной, по предположению, просеки в год валяют по пяти, мужиков с этой заготовкой и подвозкой дров от хлебопашества отвели, платят им за это чистыми деньгами, они эти деньги пропивают. Выстроенные мосты тоже не принимают: по свидетельству оказалось, что вместо железных болтов вбиты деревянные; мастеровых по разным постройкам больно плохо разделявают: кому пять, кому десять рублей недодается. Купец у нас тут есть, всякой всячиной из съестных припасов торгует, приятель мне немножко, приходит раз ко мне.

– Я, – говорит, – Иван Семеныч, к тебе с жалобой.

– Что такое? – говорю.

– Да вот видишь, – говорит, – твой племянничек задолжал у меня в лавке на тысячу рублей да и не платится; посылал было это к нему парня со счетом, так дал только двадцать пять рублей, а малого-то разругал да велел еще прогнать. Это ведь, говорит, нехорошо!

– Какое, – говорю, – хорошо!

– То-то, – говорит, – поговори ты ему, а не то я и в полицию на него пойду.

Говорю я об этом Дмитрию Никитичу.

– О дядюшка, это такая скотина, – отвечает он мне, – что представить трудно. Я очень сожалею, что у него кредитовался, потому что у него все дрянь – гнилое и тухлое. Я теперь все буду из Ярославля выписывать.

– Это, – говорю, – как ты хочешь, делай; да старое-то надобно отдать.

– Подождет; у меня денег теперь нет. Отдам, когда будут.

По этому разговору у него, значит, нет денег. Но тем временем, извольте заметить, гу-

бернатор к нам на ревизию собирается. Как ему такой случай пропустить? И тут же, не выходя из моей комнаты, вдруг мне говорит:

– Я, – говорит, – дядюшка, ехал к вам не за этими пустяками, а за делом посерьезнее. Где вы, говорит, губернатора думаете принять?

– Квартира, – говорю, – у головы отведена, приготовлена.

– Ах, – говорит, – дядюшка, как же это возможно? В такой грязи принять начальника губернии... Это неприлично, невежливо. Я хочу его просить остановиться у меня. Человек он мне знакомый, очень милый, и вам, – говорит, – дядюшка, будет не лишнее; все-таки у родного племянника остановится.

– Если, – я говорю, – для меня, так не хлопочи.

– Ничего, – говорит, – дядюшка, не мешает; только вот досадно, что я теперь совершенно без денег: эти торговые обороты обобрали меня на время совершенно. Не можете ли вы одолжить, на месяц или на два, пятьсот, шестьсот целковых?

– Нет, – говорю, – Дмитрий Никитич; хоть зарежь, теперь у меня в доме только десять

рублей серебром, а если ты занимаешь для приема губернатора, так не советую; без тебя дело сделается; никого не удивишь.

Он мне ничего на это не сказал и только понадулся за отказ в деньгах. Ну, я думаю, что отложит свое намерение на этот раз, однако нет-с. Встречаю я губернатора обыкновенно на границе; спросил он меня, о чем следует, и говорит потом:

– А что, – говорит, – Дмитрий Никитич Шамаев в городе или нет?

– В городе, – говорю, – ваше превосходительство.

– Везите меня, пожалуйста, прямо к нему. Он меня просил остановиться у него, и я не хочу ему отказать в этом; он так обязателен, – говорит он мне и потом обращается к своему чиновнику, который с ним ехал: – Вообразите, говорит, у жены собачка, которую и вы знаете, померла нынче зимой; Дмитрий Никитич как-то был в это время у нас и вдруг, не знаю уж, где мог достать, презентует нам превосходнейшую левретку и, что мне очень со-вестно, чрезвычайно дорогую; знатоки ценят ее во сто целковых.

Прослушал все это я и везу, куда мне было приказано; но вышло так, что Дмитрий Никитич встречает нас, вместе с городничим, еще на черте города, повторяет свой зов, губернатор благодарит и приглашает его с собой в коляску; поехали по городу. Мы, чиновники, руки по швам, прильпе язык к гортани моей; а Дмитрий Никитич наш сидит с губернатором рядом да поговаривает, и вижу, что ему это чрезвычайно лестно. Тут, конечно, обед-с. На другой вечер бал, человек сорок было, но из чиновников, заметьте, только предводитель и я-с, больше никого не позвал, а все набрал помещиков побогаче, приятелей, знаете, своих, как он их называл... Очень мне интересно знать, откуда он денег добыл. Начиная узнавать стороной, и по справкам оказывается, что умолил, укланял свою супругу отдать ему приданные брильянты для погашения какого-то экстренного дела, которые вместо того заложил, да на эти деньги и справил пир. А между тем на той же, кажется, почте получается из губернского правления указ об описи имения штаб-ротмистра Шамаева за неплатеж опекунскому совету. Я поехал сооб-

щить ему эту новость; только дома, говорят, нет – в Петербург-де уехал.

– Как, – говорю, – в Петербург уехал – и не простившись? А барыни где?

– Старая, – говорят, – барыня не так здорова, тоскует о Дмитрие Никитиче.

Ну, бог с ней, думаю, пускай ее тоскует; мне уж наскучило ее в этом горе утешать, и прошел к Алене Петровне.

– Что это, – говорю, – Дмитрий Никитич укатил в Петербург? Ради чего собрался так скоро?

– По делу, – говорит, – дяденька, уехал.

– Дела, кажется, все у него здесь; разве, – говорю, – по вашему наследственному иску, о котором он прежде говаривал?

– Да, – говорит, – по этому.

– Какого же рода, – говорю, – это наследство? Скажите мне, пожалуйста.

Она этак усмехнулась.

– Право, – говорит, – дяденька, я и не знаю хорошенько. Слышала, что нам какое-то идет довольно большое наследство; папенька сначала хлопотал о нем, а потом бросил. Дмитрий Никитич, когда на мне женился; стал па-

пеньке говорить, чтобы он продал ему эту тяжбу; папенька и говорит: «Продавать я тебе не хочу, а хлопочи. Выиграешь, так все твое будет».

– И Дмитрий Никитич надеется выиграть?

– Непременно; он очень в этих случаях легковерен.

– Чересчур уж, – говорю, – легковерен. В его лета и при его семействе это, пожалуй, и непростительно. Я давно, – говорю, – милая племяненка, хотел поговорить с вами и спросить вас: скажите мне откровенно, богаты вы или нет?

– Тоже, – говорит, – дяденька, не знаю. Если как Дмитрий Никитич уверяет, так богаты, а если...

И не dokonчила, знаете.

– Послушайте, – говорю, – Елена Петровна, я с вами буду говорить еще откровеннее: когда Дмитрий на вас женился, обстоятельства его были очень расстроены; откуда он потом взял денег?

– Ах, дяденька, – говорит, – как откуда! Он за мной в приданое получил тридцать тысяч серебром.

– И на эти деньги он, конечно, и помахивал и, конечно, уж их поубавил!

– Поубавил? (Смеется) Вряд ли не все издержал!

– Зачем же, – я говорю, – вы свои деньги, имея уже детей, давали так транжирить?

– Ах, дяденька, да что же я понимала? Вышла за него семнадцать лет, была влюблена в него до безумия, каждое слово его считала законом для себя. Вы лучше скажите: как он папеньку уговорил? У нас три сестры выданы, и он ни одному еще зятю не отделил приданных денег, а Дмитрию Никитичу до копейки все отдал. Он его как-то убедил, что едет в Москву покупать подмосковную с хрустальным заводом, показывал ему какие-то письма; вместе все они рассчитывали, как это будет выгодно. С этим мы в Москву и ехали.

– Отчего же, – говорю, – не купили? За чем дело стало?

– Да мы никакой подмосковной и не видали, – отвечает она. – Дмитрий Никитич, приехав, нанял огромную квартиру, познакомил меня с очень многими, стал давать вечера, заставлял меня беспрестанно ездить в театр, в

собрания, а папеньке написал, что все куплено, и старик до сих пор воображает, что у нас семьдесят душ под Москвой и завод. Теперь, как я начну писать к папеньке, так он и умоляет, чтоб я не проговорила как-нибудь, – такой смешной!

– Не смешной он, – говорю, – сударыня, а досадный, губит себя и свое семейство. Блажь какая-то у него все еще в голове.

– Именно, – говорит, – дяденька; о себе я не забочусь; что бы там доктор ни говорил, а я очень хорошо знаю, что мне недолго жить.

– К чему же, – говорю, – моя милая Елена Петровна, такие мрачные мысли иметь? В ваши лета о смерти и думать еще не следует.

– Нет, – говорит, – дяденька, у меня есть верное предчувствие...

И сама заплакала. Потом вдруг, помолчав немного, берет меня за руку; слезы градом.

– Дяденька, – говорит, – если я умру, не оставьте моих сирот и будьте им второй отец! Папенька далеко. Митя прекрасный, умный и благородный человек. Но он мало о детях будет думать.

– Полноте, – говорю, – сударыня, что это за

глупые фантазии!

Ну, и знаете, утешаю ее, как умею, однако она весь вечер почти проплакала и после этого разговора еще более с нами сблизилась, почти каждый день видалися: то она у нас, либо мы у нее. От Дмитрия Никитича – проходит месяц, проходит другой, проходит третий – ни строчки; в доме, заметьте, не оставил ни копейки. Она мне говорит об этом.

– Что мне, – говорит, – дяденька, делать?

– Делать, – говорю, – то, что возьмите у меня пятьдесят целковых.

Дал ей; а дальше не знаем, как и жить будем, хотя продавать экипажи; однако вдруг, совершенно неожиданно, присылают сказать, что Дмитрий Никитич приехал и желает меня видеть. Еду. Нахожу его в семье своей между супругой, детьми и матушкой, с очень довольным лицом, в щегольском этаким халате – китайской, что ли, материи? Бархатом весь отделанный, точно как вот, знаете, на модных картинках видал. Обнялись мы с ним, поцеловались. Ну, сначала то и се: «Когда выехал? Когда приехал?» Маменьке, конечно, при сем удобном случае нельзя не по-

хвалить сынка.

– Уж именно, – говорит, – Митенька жизни не щадит для своего семейства. После всех петербургских хлопот скакал день и ночь, чтобы поскорее с нами увидеться.

«Что и говорить, думаю, про твоего Митеньку!» А сам, знаете, осматриваю комнату и вижу, что наставлены ящики, чемоданы, перед детьми целый стол игрушек – дорогие, должно быть: колясочки этакие, куклы на пружинах; играют они, но, так как старшему-то было года четыре с небольшим, успели одному гусару уж и голову отвернуть.

– Это, – я говорю, – видно, подарочки детям, Дмитрий Никитич?

– Да, – говорит, – нельзя не потешить. Впрочем, – говорит, – позвольте...

Встал, знаете, и подал мне какой-то ящик.

– Не угодно ли, – говорит, – взглянуть?

Открываю, вижу бритвенный прибор: двенадцать английских бритв, серебряная мыльница, бритвенница, ящик черного дерева, серебром кругом выложен.

– Как вам, дядюшка, это нравится?

– Хорош, – говорю.

– Очень, – говорит, – хорош, из английского магазина. А так как, к удовольствию моему, он вам приглянулся, а потому не угодно ли принять его в подарок?

– Что это, – говорю, – Дмитрий Никитич, как не совестно тебе? Да ты, – говорю, – и меня-то конфузишь. Это вещь сторублевая; а мне тебя таким подарком отдарить, пожалуй, и сил не хватит.

– Ну, – говорит, – дядюшка, этого нельзя сказать: я вам столько обязан, что мне долго еще не отдариться. Вот вы, говорит, и в теперешнее отсутствие мое обязали мою жену. Поверьте, говорит, все это чувствую и умею ценить.

Убедил меня таким манером: принял я.

– Когда уж о подарках речь зашла, – продолжал он, – так, – говорит, обращаясь к супруге своей, – похвастайся и ты, друг мой, и покажи, какие тебе привез.

Она взглянула на меня и потупилась, однако велела горничной подать. Приносят: первое – шляпка; я таких, ей-богу, и не видывал ни прежде, ни после: точно воздушная, а цветы, совершенно как живые, так бы и поню-

хал; тут бурнус, очень какой-то нарядный; кусков пять или шесть материй разных на платье. Осматриваю я все это.

– Хорошо, – говорю, – очень хорошо.

– А вот, – говорит, – кой-что и для дома, дядюшка: вот, – говорит, – очень любопытные вещи.

И сам своими руками раскрывает один из ящичков. Я сначала и не понял, что такое: какие-то тарелочки, вазочки, умывальник.

– Это, – говорит, – дядюшка, нынче изобрели; из бумаги все делают. А вот, говорит, тоже новое изобретение.

И опять открыл другой уж ящик.

– Это, – говорит, – тисненая жесьть, а потом бронзированная, для драпировки великолепная, не отличишь от золота, и если бы вы знали, как все это дешево – просто даром.

– Неимоверно дешево, – поддакивает ему маменька и потом продолжает: – А что же ты, – говорит, – Митенька, подарок мне не хочешь показать!

– Покажите, – говорит, – маменька.

Старуха сама, знаете, пошла и с торжеством приносит бархатную мантилью и шел-

ковский капот, совсем сшитый. Я все, конечно, хвалю.

– Да, дяденька, вы вот все хвалите, а жене все не нравится, – замечает он.

– Почему же ты думаешь, – говорит та, – что не нравится? Я говорю только, что лишнее; у меня и без того много платьев.

– Мало ли, много ли, а все-таки вы должны меня поцеловать, – возражает он и берет ее, знаете, за руку и целует.

– Это все хорошо, – говорю, – Дмитрий Никитич; только ты вот покупок-то накупил, а в опекунский совет, чай, не наведалься. Именье твое, – говорю, – описано, и все уж бумаги отсланы.

– Наведывался, – говорит, – дядюшка, только заплатить не успел. Небольшая сумма – восемьсот девять рублей серебром, с первую же почтой вышлю отсюда.

– То-то, – говорю, – не забудь как-нибудь.

А между тем этим своим приездом он опять защекотал мое любопытство. Смертельно хочется узнать, в каких он обстоятельствах.

– Ты, Дмитрий Никитич, процесс-то, видно,

выиграл? – говорю я ему, оставшись с ним вдвоем.

– И нет и да, дядюшка; двинул по крайней мере и сдал одному господину хлопотать, – отвечает он мне и как-то замял этот разговор.

Но на эти же почти самые слова входит человек и просит у него на что-то денег. Он вынимает бумажник, разворачивает. Смотрю, полнехонек набит.

– Ого, сколько у тебя государственных-то! – невольно, знаете, воскликнул я.

– Да, – говорит, – деньжонки есть.

И с этими словами начинает выкидывать ассигнации, серии, банковые билеты; тысяч на десять серебром выкинул.

– Откуда, – говорю, – любезный, столько приобрел?

– По разным сделкам, – отвечает, – получил. У нас всегда, – говорит, – будут деньги, потому что мы знаем, где они водятся, да и дома их не держим долго взаперти, не так, как вот наш почтенный дядюшка (это значит я), который, говорят, накопил кубышку и закопал ее в землю; а мы сейчас все в ход пускаем: вот эти тоже не засидятся долго дома,

только теперь надобно обдумать, как бы с ними поумней и повыгодней распорядиться.

– Да, – говорю, – надобно уж рассчитать как-нибудь получше. От обедов да от вечеров, ты хоть и рассчитываешь на них, а вряд ли получишь какие-нибудь барыши, кроме убытка?

– Нет уж, – говорит, – дядюшка, баста, будет, выучили. Никто из этих господ куска хлеба теперь не увидит. Я их поил, кормил; они видели, как я живу; а когда меня встретила нужда, так они мне в тридцати целковых имели духу отказать.

– Это уж, – говорю, – в свете так ведется; скажи-ка лучше мне, что ты в самом деле думаешь делать на эти деньги?

– Именье, – говорит, – хочу приискать и купить; завод уничтожу, англичанина этого прогоню, потому что он только ладит, как бы себе карман набить, и стану, – говорит, – хлебопашеством заниматься. Хлеб пахать – этот доход всегда верней.

– А я бы, – говорю, – Дмитрий Никитич, советовал тебе не то: именье ты покупай, это хорошо, но только оброчное; усадьба у тебя

есть прекрасная, чего тебе еще больше заводить хлебопашества...

И говорю ему, знаете, таким манером, потому что с хлебопашеством, думаю, он начнет опять какие-нибудь выдумки, которые так только выдумками и останутся у него, а толку ничего не выйдет.

– Я думаю, – говорит, – так и сделаю.

– А если, – говорю, – ты это думаешь, так я, пожалуй, тебе и именье приищу, у меня есть подобное на примете.

– Хорошо, – говорит, – дядюшка, очень вам благодарен буду.

Так мы с ним на этом и положились. Однако случилось у меня тут очень много дел; кроме того, губернатор в другой уезд командировал разбойников ловить, так что я месяца три дома и не бывал. Возвращаюсь потом и вдруг слышу, что Дмитрий Никитич мой уж с покупкой. И какого же рода эта покупка вышла-с? Несколько лет назад появился у нас один господин в уезде, по фамилии Курка, выходец, должно быть, какой-нибудь, нерусский, маленький, сутулый, облик лица какой-то свиной, глаза узенькие – все вниз

смотрят, волосы черные, густые, стриженные, точно ермолка на голове, но умная и претонкая штука, оборотами тоже различными занимается, как и наш Дмитрий Никитич, только гораздо повыгодней для себя. Купил он тут за бесценок пятнадцать душ с большими, впрочем, угодьями, к которым еще присоединил, и развел тут скотный двор – животин триста начал держать, чтобы делать сыры, сырный завод устроил. Но, как дальновидный плут, в половине этак, знаете, лета, сообразивши, что ни сена, ни хлеба в тот год не родится, пригласил Дмитрия Никитича к себе в гости, показал ему во всем блеске свое хозяйство, да и предложил купить. Тот сейчас же изъявил готовность и за семь тысяч приобрел. Я с первого раза, конечно, понял всю эту проделку, но говорить уж не стал – не поможешь. Затем наступает, сударь мой, у нас в губернии голод. Хлеб поднялся до двух с полтиной пуд, сено пятиалтынный и двугривенный, соломы ржаной и яровой десять – двенадцать рублей овин, да еще и не найдешь. У Дмитрия Никитича в новом именье с первого октября ни хлеба, ни корму; значит, надобно

на все денежки; а денежки Дмитрию Никитичу на другое нужны. Приехал тогда в город один богатый московский барин, охотник до скачек лошадиных, устроил у нас бег; Дмитрию Никитичу, конечно, нельзя утерпеть. Сейчас же завел двух рысаков, гоняется, держит с тем пари и, конечно, всегда проигрывает, потому что у того лошади с московского бега – наезженные. Обедцы и вечера, хоть и закаивался, продолжают идти прежним порядком. Ну, и пока мы таким манером приятно с ним зиму проводим, новокупленным нашим коровкам не так было, видно, весело: всю зиму, по новому изобретению, кормили их чем-то вроде пареных щепок, а под ноги стлали, вместо соломы, тоже по новой выдумке, – ельнику. Как пришла весна-матка, ни одна из трехсот животин и со двора не идет, едва столкали; а чуть как с зимнего-то голоду отавы хватили, сначала одна ножки вздернула, потом другая, и сильнейший падеж, так что я не успел даже вызвать ветеринара, в неделю – ни одной животины. А вслед же за этим хлоп известие, что именье в опекуновском совете продано; он и не думал посылать недо-

имки, о которых я ему говорил, забыл. Вот он какой печный и коммерческий человек. Еду я к нему, он в отчаянии.

– Дядюшка, – говорит, – я разорился... я погубил все семейство... все пойдут теперь по миру!

Кричит этак на весь дом, хватается за волосы, кидается на диван, бежит по комнате.

Бедная Елена Петровна сидит с ним, плачет; старуха тоже в отчаянии, потому что Митенька встревожен, так боится, чтоб не заболел.

Стал было я его уговаривать.

– Полно, – говорю, – Дмитрий Никитич, бесноваться. Пожалей ты хоть сколько-нибудь свою супругу и мать.

Ничего не слушает, а тут еще... надобно же, впрочем, такое стечение неприятных обстоятельств... приносят вдруг письмо к Елене Петровне от отца, в котором он ее почти бранит. Во-первых, узнал, что подмосковной его обманывали, а главное, за процесс, который, оказывается, что Дмитрий Никитич по полной от тестя доверенности хлопотать, продать и заложить, не будь глуп, возьми да и

продай одному адвокату за десять тысяч все право. Эти-то самые денежки из Петербурга и привез. «Я, – пишет старик, – доверил ему хлопотать для себя, а не продавать родового достояния в чужие руки». И заключает тем, что пишет дочери: «Если ты, говорит, навечно не хочешь лишиться моего родительского благословения, так брось своего мужа и приезжай с детьми ко мне; иначе он вас всех погубит». Что делать в этом случае бедной женщине? Мужа, какой бы он ни был, все-таки она любит и любит истинно, а с другой стороны отец, который, видно, старик с гонором. К несчастью, все это время она была опять беременна, и так все это ее поразило, что в ту же ночь разрешилась неблагополучно мертвым младенцем. Ну, а этакой случай и здоровые женщины не все переносят, а ей много ли надо: месяца два потомилась и богу душу отдала. Это новое несчастье срезало его, как говорится, окончательно, и он совершенно упал духом. С полгода никуда не ездил и к себе никого, кроме меня, не принимал. А дела между тем пошли все хуже и хуже: денег ни копейки, модные экипажи и щегольские чет-

верки сплыли за полцены в разные руки; дом в городе отовладели кредиторы, и таким образом дошло до того, что принужден был переехать в свое имение на пятнадцать душ с почти слепой от слез матерью и с троими малютками, где и живет теперь. Распустил койкого из людей на оброки да отдал свои угодыя в кортомы[5], только и доходу в том-с. И такая теперь бедность, что я как-то по весне заезжал к нему в эту его маленькую усадобку, так и не глядел бы; но больше всего надсадили мое сердце эти трое несчастных сироток: бегают без всякого присмотра по улице с ребятишками, оборванные, неумытые. До сих пор никак не могу от него добиться, чтобы он выхлопотал им метрическое свидетельство и прочие документы, чтобы как-нибудь их в казенные-то заведения можно было похлопотать. В настоящем положении дать ему место – истинное благодеяние. Расскажите князю все, что я вам говорил, и попросите, чтобы он явил эту милость. Хоть по крайней мере для семейства, – заключил Иван Семенович.

– Очень хорошо, – сказал я, – но вот в чем, Иван Семеныч, маленькое затруднение: как

мне говорить об его бедности, когда он являлся к князю одетым по последней моде?

Иван Семенович усмехнулся.

– Знаю-с, – отвечал он, – в прошлом месяце последнее именьишко заложил и сделал себе гардероб. Такой уж у нас с ним характер: хоть в желудке и щелк, а на себе всегда будет шелк.

Возвратившись, я пересказал князю все, что слышал, и передал просьбу Ивана Семеновича. Шамаеву дано было место. Но не больше как через год у меня опять случился доклад, и опять дежурный чиновник возвестил: «Старший чиновник особых поручений Шамаев».

– Подождать, – сказал князь, нахмурившись, и потом, обращаясь ко мне, прибавил, – ваш общий с Иваном Семенычем протееже славный чиновник вышел.

– Что такое? – спросил я.

– Ужас, что такое, – отвечал князь. – Он исполнял у меня поручения не больше полугода, и самые пустые, но первый же его шаг состоял в том, что он всем уездным присутственным местам начал предписывать, и когда я ему заметил это, он мне пренаивно объяснил, в оправдание свое, что, быв представителем моим в уезде, он считал себя вправе это делать. Потом, наконец, как хотите, собирает там чиновников, говорит им торжественные речи. Ко мне обыкновенно пишет, по всем

делам, коротенькие, дружественные записочки, безграмотные, бестолковые, и я хоть не формалист, но в то же время, помилуйте, эти бумаги останутся при делах, и преемник мой, увидевши их, будет иметь полное право сказать: «Что за чудак был губернатор, который с своим чиновником особых поручений вел дружескую переписку по делам?» И в заключение всего послал помимо меня в Петербург нелепейший проект об изменении полиции, который, конечно, не давши ему никакого хода, возвратили ко мне; однако не менее того все-таки видели, какого гуся я держу около себя.

Проговоря эти слова, князь задумался. Видно, что он был очень сердит на Шамаева и собирался с духом его распечь.

– Господин Шамаев! – проговорил он, наконец, подойдя к дверям.

Шамаев вошел и первый начал:

– Я, ваше сиятельство, явился донести вам, что все возложенные на меня поручения мною кончены.

– Знаю-с, – отвечал князь, – знаю даже, что вы вашу служебную деятельность распро-

странили за пределы прямых ваших обязанностей. Вот ваш проект! – продолжал он, подавая Шамаеву толстую тетрадь. – Во-первых, вы не должны были его посылать помимо меня; а во-вторых, чтобы писать о чем-нибудь проекты, надобно знать хорошо самое дело и руководствоваться здравым смыслом, а в вашем ни того, ни другого нет.

Шамаев покраснел.

– Из слов вашего сиятельства и из последних предписаний я вижу, что не успел угодить вам моей службой; впрочем, сколько имел усердия и по способностям моим... – начал было он.

– По вашим способностям, – перебил князь, – я нахожу, что служба чиновника особых поручений слишком тесна и ограничена.

Шамаев еще больше вспыхнул.

– Завтрашний день я буду иметь честь представить вашему сиятельству прошение об отставке, – сказал он.

– Сделайте одолжение, – отвечал князь.

Шамаев слегка поклонился и гордо вышел.

В тот же день вечером был концерт приехавших из Москвы цыган. Я поехал, Шамаева

нахожу там же. После концерта затеяли ужин с цыганами, на расходы которого составила подписка; Шамаев был одним из первых подписавшихся. А потом, как водится, начался кутеж; он, очень грустный, задумчивый и, по видимому, не разделявший большого удовольствия, однако на моих глазах раскупорил бутылки три шампанского, и когда после ужина Аксюша, предмет всеобщего увлечения, закативши под самый лоб свои черные глаза и с замирающим от страсти голосом пропела: «Душа ль моя, душенька, душа ль, мил сердечный друг» и когда при этом один господин, достаточно выпивший, до того исполнился восторга, что выхватил из кармана целую пачку ассигнаций и бросил ей в колена, и когда она, не ограничившись этим, пошла с тарелочкой собирать посильную дань и с прочих, Шамаев, не задумавшись, бросил ей двадцать рублей серебром.

«Фанфарон! Фанфарон!» – повторил я мысленно, глядя на него, слова Ивана Семеновича.

По известиям, дошедшим до меня в последнее время, Шамаев выбран директором

одной из так блистательно идущих акционерных компаний, и выбран собственно для спасения дела. Надо полагать, что поправит и спасет его.

Примечания

Впервые рассказ напечатан в «Современнике» (1854, № 8). В журнальной публикации рассказ имел следующий подзаголовок: «Один из наших снобсов. Рассказ исправника», – причем первая часть подзаголовка была пояснена в специальном примечании: «Меткость сатиры и поучительная сила очерков Теккерей: «Снобсы» дали автору мысль написать настоящую статью. Под общим названием «Наши снобсы» он предполагает привести несколько биографических очерков. Предчувствую обвинения в смелости и сам сознаюсь в своей немощи идти вслед великому юмористу, но все-таки решаюсь».

Ошибочное написание заглавия книги Теккерей (« Снобсы» вместо «Снобы») Писемский, не знавший английского языка, заимствовал из русского перевода «Книги снобов», опубликованного в «Современнике» за 1852 год (ноябрь-декабрь). Это свидетельствует о том, что замысел рассказа возник не раньше конца 1852 – начала 1853 года.

12 марта 1854 года Писемский извещал

Н.А.Некрасова: «...написал еще рассказ исправника: «Матушкин сынок...»[6]. Месяцем позднее он отправил этот рассказ издателю «Современника». «Посылаю к вам, – сообщал он Некрасову, – по письму вашему, «Матушкина сына», переименованного мною в «Фанфарона». К нему прилагаю на всякий случай два окончания: одно, пришитое к тетради, где герою дается место чиновника особых поручений, и я желал бы, чтобы оно было напечатано, но если, паче чаяния, встретятся затруднения со стороны цензора, так как тут касается несколько службы, то делать нечего, тисните другое, (что, впрочем, мне чрезвычайно бы не желалось), что для меня почти все равно. Как вам понравится «Фанфарон», уведоьте меня. Я его написал и никому не читал еще... Примечание к «Фанфарону» на первой странице – не покажется ли вам очень резким? Впрочем, я этого не нахожу с своей стороны и желал, чтобы оно напечаталось»[7]. Через цензуру удалось провести именно то окончание, на котором настаивал сам Писемский.

Замысел «Наших снобсов» не был осу-

ществлен. Кроме «Фанфарона», ни одного рассказа из намеченного цикла не было написано. В связи с этим в издании Ф.Стелловского первая часть подзаголовка, «Один из наших снобсов», была снята, а вторая часть несколько изменена: вместо «Рассказ исправника» «Еще рассказ исправника», так как опубликованный раньше рассказ «Леший» также имел подзаголовок «Рассказ исправника».

При подготовке издания Ф.Стелловского в текст «Фанфарона» было внесено несколько изменений, главным образом стилистического характера. После слов «...бросил ей двадцать рублей серебром» (стр. 398) в тексте «Современника» было: «Я посмотрел на него и подумал: это делает семьянин, у которого на руках трое, без всякого присмотра, и, может быть, полуголодных в эту минуту детей, слепая мать, семьянин, которому только что отказали в месте, почти единственной его надежде для существования, и делает не по особенному удовольствию, а потому только, чтобы не отстать от других». Журнальный текст заканчивался так: «Фанфарон! Фанфарон!» – повторил я мысленно слова Ивана Семеныча

«. Следующая фраза, со слов «По известиям, дошедшим до меня в последнее время...» до «...спасет его» (стр. 398), появилась только в издании Ф.Стелловского.

«Фанфарон» был в свое время одним из наиболее популярных произведений Писемского. Этот успех в известной мере обусловливался злободневностью темы рассказа. «О том, что мой «Фанфарон» уже напечатан, – сообщал Писемский Некрасову 7 октября 1854 года, – я... узнал недавно, потому что с июльской книжки не получаю «Современника» и что такое это значит – понять не могу: не высылают ли его ко мне совсем или заслан он кому-нибудь другому – не ведаю. Очень рад, что этот очерк понравился в Петербурге, и вместе с этим могу вам сообщить не ради авторского самолюбия, а ради правды, что в нашей провинциальной читающей публике он... получил, кажется, исключительный перед всеми другими моими сочинениями, успех – его прочитали даже все положительные люди, давно не читающие никаких повестей, потому что в «Фанфароне» тронута самая живая, самая интересная для них струна

в жизни: безрасчетливость и неблагоприятное хозяйство».[8]

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.

Примечания

1

...делать куры – ухаживать (от французского faire la cour).

[^^^]

...поступает в Демидовское – училище правопроведения в Ярославле.

[^^^]

3

Извините, сударь (франц.).

[^^^]

4

Дормез – карета, приспособленная для лежания.

[^^^]

Кортомы – аренда.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 64.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 66.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936,
стр. 78—79.

[^^^]